

ВЛАДИМИР ЧУГУНОВ



ПЛАЧ АДАМА

ПОВЕСТЬ

1

Ты страдаешь, ты мучаешься, мой мальчик, оттого что та, которой ты дышал год, чьи фотографии занимали половину стены твоей комнаты, с кем говорил с такой ранимой откровенностью, которая невозможна даже с родителями, ради которой оставил всё, которую с юношеской горячностью готов был назвать женою, — словом, та единственная и неповторимая, казалось, без особо видимых причин ушла, прикрыв свой ничем необъяснимый поступок не просто нелепым, а даже кощунственно звучащим в данном случае словом “друг”. “Останемся друзьями”, — сказала она.

Видишь ли, мой мальчик... Ах, тебе не нравится это обращение. Ты уже взрослый, тебе скоро девятнадцать, ты занимаешься спортом, берёшь на соревнованиях первые места, ровесницы от тебя без ума и такое обращение кажется тебе не только старомодным, но и обидным, — понимаю. Но поверь, даже если тебе будет столько же, сколько теперь мне, и тогда ты останешься для меня всего лишь “моим мальчиком”, как для твоей бабушки я. Менья, кстати, она до сих пор зовёт “сынком”. И в твои годы мне так же неприятно было это слышать. Ещё бы! Тогда я, как и ты, считал себя взрослым, а твоя бабушка, как назло, продолжала звать меня “сынком”.

ЧУГУНОВ Владимир Аркадьевич родился в 1954 году в Нижнем Новгороде (тогда город Горький). После службы в армии работал на Горьковском автозаводе. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького и Нижегородский педагогический университет (курс практическая теология). С 1990 года в священном сане. Автор книг прозы: романов “Русские мальчики”, “Мечтатель”, “Молодые”, “Невеста”, “Наши любимые”, книг очерков о святых и подвижниках благочестия “Церковь воинствующая”, “Авва” и других. Член Союза писателей России. Живёт в селе Николо-Погост Городецкого района Нижегородской области.

Теперь трудно это представить, но тогда не было компьютеров, а стало быть, общедоступных форм передачи информации на необозримые расстояния. Мы даже не подозревали, что простое письмо может достичь любого континента буквально за несколько секунд, что с друзьями можно переписываться в режиме реального времени и даже разговаривать, созерцая друг друга на экране монитора. Не было также возможности “качать” из интернета фонограммы любимых песен или, как их теперь называют, “хитов”, записывать их на “си-ди”, “флешки” и даже простой сотовый телефон, о появлении которых мы тоже не подозревали (и простых-то было раз, два — и обчёлся), и которые делают влюблённых хотя и доступнее для общения, но вряд ли ближе, чем в часы свиданий.

А сколько трепетных минут проходит в ожидании назначенного часа, в предварительных сборах, наведении утюгом стрелок на выходные брюки с помощью пропитанной стиральным порошком марли, верчении перед трюмо и, конечно, пути к месту свидания, когда мир вокруг представляется сказкой не только в дни очаровательного цветения в садах сирени, но и во времена поздней осени, и даже в беспросветные выюжные вечера. Твоё сердце поёт, и твой восторг изливается на всё, отчего мир кажется таким прекрасным, что ты даже удивляешься, почему раньше этого не замечал.

Но всё это, разумеется, только присказка. И я по блеску твоих глаз вижу, что это так. И, однако же, хочу начать именно с присказки.

А всё начинается после того первого удивления, которое однажды испытываешь после школьных каникул при взгляде на совершенно не узнаваемых одноклассниц. Другим в них кажется всё: походка, манера держать себя, иначе сидящая форма, — и ты не можешь уже, как прежде, проходя мимо, дёрнуть кого-нибудь из них за косу, сказать колкость, даже просто, как задавке, показать язык. Это для тебя так же немислимо, как ходить по потолку. С этого момента ты начинаешь стыдиться неглаженных брюк, нечищенных ботинок, засаленного ворота рубашки, нестриженных грязных ногтей, тайком от родителей принимаешься скоблить безопасной бритвой идеальной чистоты подбородок. И если буквально год назад ты хихикал над письмом Татьяны к Онегину и глумился над его письмом к ней, то теперь ты обмираешь от одной только мысли проводить её после уроков домой. Отныне одно только “это” занимает тебя. До того, что там, где ты живёшь, начинаю удивляться наступлению непривычной тишины в твоём углу и даже интересоваться, не заболел ли ты, почему не бежишь, как прежде, сломя голову гулять. Дружки-приятели, особенно те из них, что вышли из пьесы Горького “На дне”, не узнают тебя, по-прежнему при встрече вздыхая, прежде чем сунуть натренированную эспандером или до желтизны ногтей прокуренную пятерню. И даже удивляются, когда ты, не обращая внимания на эти фокусы, тиснув, как и полагается, по кругу все до одной длани, говоришь, что занят, спешишь, словом, на этот и на все последующие вечера “полный пас”. Более того, ты начинаешь постигать, что все люди, хотя и сделаны кем-то недоказуемым и непроверяемым из одной и той же глины, однако начинены далеко не одинаковым содержанием, о чём даже в Писании сказано: “Иная плоть у скотов, иная у рыб, и звезда от звезды разнится в славе”.

Иначе это можно было бы назвать пробуждением Адама. И начинается оно с тоски по чему-то большему, чем дворовая компания, к общению с которой ты прежде так тянулся, принадлежностью к которой дорожил. Твой отход задевает их:

— Забываешь старых друзей? Зазнался?

О, эти ушеры, эти жуки навозные не успокоятся до тех пор, пока не увидят тебя в своей навозной куче. Что делать, путь малодушного раболепства проходит всякий подросток, но далеко не каждый находит в себе силы пробудиться от этого наркотического сна. Но если в тебе пробудился Адам, ты спасён, хоть и ожидает тебя впереди море слёз. Но об этом после...

Теперь, когда тебе плохо, ты ищешь спасения в случайных знакомствах, и даже клянёшься “им всем” за себя отомстить.

Если б ты знал, как всё это мне знакомо до самой последней мелочи!

И всё-таки я рад, что когда-то “это несчастье” отучило меня от игры в свару на деньги, правдой и неправдой добываемых из трудового родительского кошелька, отвело от того лишь поначалу кажущегося невинным озорства, которое многих из тогдашних приятелей если не довело до тюрьмы, то до пьяной нищенской жизни — точно.

И этому спасению, этому чуду я обязан ей, скажем, Еве, ибо для каждого из сынов Адама существует на свете своя Ева.

Мне почему-то думается, что первую любовь правильнее было бы считать выходом в иную реальность очнувшегося от кошмара животных инстинктов Адама. С иными ничего подобного не происходит никогда. И в данном случае первую любовь можно понимать и как спасение, и как дверь, и даже, говоря косноязычно, как “путёвку в жизнь”.

2

А начну, пожалуй, с того памятного летнего вечера, когда ощущал в себе ту особенную лёгкость от избытка жизненных сил, которая и бывает только тогда, когда мы молоды и чисты, а ещё — нежность к трепещущей зелени лип нашего парка, к свежему воздуху, к ясным сумеркам. Нарядные толпы шли к танцплощадке отовсюду.

Я никогда бы не мог объяснить — почему, но её приближение я почувствовал ещё до того, как увидел. Тревога, волнение вдруг охватили меня. Не понимая, что происходит, я невольно оглянулся: пять или шесть девушек приближались к нам. За дальностью и сгущающимися сумерками лиц практически не было видно, но сердце моё взволновалось. Я отвернулся — и уже никого и ничего не видел. Когда девчата поравнялись с нами (ещё двое или трое ребят стояли со мной), я невольно обернулся: Ева смотрела прямо перед собою, но в тот миг она вдруг сама повернула голову, мы встретились взглядами, как и все, друг другу кивнули, прошла всего секунда, а я словно выпил яду. Только приличия ради не побежал следом.

Когда же, наконец, поднялся на тускло освещённую полупустую танцплощадку, сразу увидел её. И с этой минуты уже никого не замечал.

Когда заиграла музыка, чтобы не перебили, я поспешил пригласить Еву на медленный танец. Пстой, что же пели тогда? Ну, конечно же!

*Песни у людей разные.
А моя одна на века:
Звёздочка моя ясная,
Как ты от меня далека.*

Едва сдерживая нервный озноб от непривычной близости, я был абсолютно убеждён, что песнь эта про кого угодно, только не про нас. Тогда я даже и предположить не мог, какими убийственно пророческими окажутся эти слова, этот раздирающий душу припев:

*Поздно мы с тобой поняли,
Что вдвоём вдвойне веселей
Даже проплывать по небу,
А не то, что жить на Земле.*

Меж тем, песня продолжалась:

*Облако тебя трогает,
Хочет от меня закрыть.
Чистая моя, строгая,
Как же я хочу рядом быть!*

Какие слова! “Чистая, строгая”. Именно такой — чистой и строгой — она только и могла быть. Так ли было на самом деле, не знаю, но я испытывал перед ней благоговение, как перед самым строгим, взыскательным и вместе с тем самым любимым учителем.

А знаешь, о чём она меня тогда спросила? “Тебе холодно?” Представляешь? И знаешь, что я ответил? Заплетающимся языком стал мямлить что-то про шёлковую рубашку, которая по вечерам холодит. Когда же она предложила сходить за пиджаком, я наотрез отказался. Даже если бы окоченел, разве мог бы я оставить её теперь одну? Что ты! Уйти... Нет, я уже ни с кем не желал делиться ни одним танцем, ни одним словом, ни одним взглядом и умоляюще попросил: “Давай уйдём отсюда?”

Согласись, нечто неприличное могло показаться со стороны в нашем уходе. Только пришли — и вдруг, как заговорщики, куда-то потихоньку уходят. Куда бы это, а?

Но вот мы, наконец, вдвоём, вокруг — ни души, только звёздное величие над нами.

Всю дорогу я нёс какую-то чепуху. Что именно, не помню. Зато хорошо помню, что как-то уж очень быстро дошли мы до её дома. Классически остановились у калитки. Ещё слышны были звуки музыки, свет из боковой комнаты выхватывал из тьмы цвет акаций. Пахло сиренью. Стояли молча, глядя то по сторонам, то себе под ноги. И оттого, что где-то поблизости, может быть, за открытой форточкой находились её строгая на этот счёт, как обмолвилась она, мать, я не мог продолжать прежний разговор, и она ни о чём меня не спрашивала.

Но вот, наконец, она подаёт руку, говорит, что ей пора, мы поворачиваемся, чтобы расстаться, но ещё не решаемся разнять едва коснувшиеся друг друга пальцы, как вдруг одновременно бросаемся друг к другу в объятия. Неумело целуемся раз, другой, после каждого поцелуя стыдливо отводя глаза в сторону. А потом прощаемся и никак не можем проститься, пока, наконец, не доносится из открытой форточки властное: “Е-эва-а, до-мо-ой!” Она роняет на ходу: “До завтра? Ты придёшь? Я буду ждать. Очень!” — и скрывается за калиткой.

3

Наутро просыпаюсь самым счастливым человеком на свете. От обилия залившего комнату солнца долго не могу открыть глаз. Я прихожу в восторг от одной только мысли, что такая ни на кого во всём свете не похожая девушка любит меня. Именно так я расценил наше вчерашнее поведение, её прощальные слова. И теперь, перебирая в памяти прошлое, вспоминая школу, пытаюсь, ищу (не могло же всё начаться только вчера, верно?), но так и не могу найти признаков её любви. И это походя меня задевает.

Я поднимаюсь, принимаю душ, завтракаю, сажусь за учебник истории. Читаю параграф, другой, но ничего не запоминаю. Читаю сначала и опять ничего не могу понять. И тогда, закрыв книгу, опять начинаю думать о Еве. И так тягостно, так невыносимо становится мне наедине с моими чувствами, тогда как она, может быть, ни о чём не подозревая, совсем обо мне не думает.

Поднявшись из-за стола, подхожу к зеркалу и придирчиво рассматриваю своё лицо. Лицо как лицо, ничего особенного. И что она в нём нашла? Даже нос, кажется, как-то вкось, и одно ухо вроде выше другого. А это что, глаза, что ли?.. Эх! И я отхожу в досаде. И так ещё несколько раз, пока, наконец, не выдержав, беру ключ от сарая, где скучает велосипед, и лечу за разрешением своих недоумений к Еве.

Однако, подъезжая к её дому, начинаю трусить. Появиться на пороге среди бела дня не у невесты даже, а у простой знакомой, — это много могло значить в те, да, пожалуй, и в нынешние времена, и ко многому обязывало. А вдруг что не так — и что тогда? Но чувство невыносимого страдания заглушает благоразумные доводы.

Я слезаю с велосипеда, на минуту задумываюсь, где его оставить. Если на улице, украдут или нет? А если везти в калитку, вдруг скажут, ты что, тут уж и пропался? Но в следующую минуту глубоко стыжусь своего частнособственнического чувства. Тут, можно сказать, судьба решается, а я про какой-то велосипед!..

Дверь открывает покоцанная временем и обстоятельствами копия Евы. Ответив на приветствие, ведёт меня через веранду в дом и кричит, отворив дверь в зал:

— Ева, к тебе!.. Ступай. Там она. За уроками.

Я вхожу в просторный, блестящий чистотой полов и утренней свежестью зал, толкаю глянцевиной белизны дверь справа и застываю на пороге небольшой спальни комнаты с аккуратно застеленной кроватью, горой подушек, комодом справа и письменным столом, за которым сидит у занавешенного марлей, открытого настежь окна Ева, что-то спешно дописывая в тетради. В простом светленьком домашнем платье без рукавов, с забранными назад в пучок тёмно-русыми волосами, открывающими шею и уши, она мне кажется ещё необыкновеннее. Краем глаза у комода, на стуле, я замечаю баян.

— Я так и знала, что это ты! — говорит она, отрывая взгляд от тетради, и я вижу, как она рада моему внезапному появлению.

— Да вот, на велосипеде катался, дай, думаю, заскочу посмотреть, как ты тут живешь, чем занимаешься... — безбожно вру я и, чувствуя, что краснею, подхожу к столу и деловито заглядываю в открытую тетрадь: — Ну, и чего тут у нас?

Тетрадь закрывается перед моим носом.

— Ничего особенного.

Я не настаиваю, и чуть-чуть кое в чём признаюсь:

— А я с утра самого учил-учил, а запомнил только, как отец Ивана Грозного заточил жену Соломонию в монастырь за неплодность, чтобы жениться на другой. В результате чего и появился на свет гой еси царь Иван Васильевич. Помнишь, у Лермонтова? “Песнь про купца Калашникова”?

— Ещё бы! Особенно то место, когда купец сказал царю: “А убил я его вольной волею, а не нехотя”. Вот так настоящий мужик!

— Да уж... — соглашаюсь я и, чувствуя неловкость, отхожу от стола, снимаю на пол баян, присаживаюсь на стул. Я не понимаю, что происходит со мной, но я решительно не могу смотреть Еве в глаза.

Она, видимо, всё понимает, легко встаёт из-за стола и закрывает дверь, которую я так и не решился закрыть за собой. Походя хлопает крышкой шкатулки на комод, садится на прежнее место, плавно опускает руку на стол и сладко заглядывает в самую глубину моих нечаянно поднятых глаз.

“Вот сейчас взять и сказать”, — решаюсь я, но вместо этого киваю на баян:

— Чей?

— Папин.

Минута была упущена, и, злясь на себя за это, я говорю:

— У нас, когда на разводе “Прощание славянки” играли, весь дивизион в открытые окна ревел “Ура!” — И тут же корю себя: ну что я всё не о том? Подымаясь, прохожусь по комнате, делая вид, что рассматриваю её. Ева сидит неподвижно, не оборачиваясь.

— Я тебе мешаю заниматься, — говорю я, не понимая, зачем это говорю. — Прогони меня.

Она пожмает плечами и обескураживает:

— Уходи.

— Правда?

Она оборачивается и, склонив голову набок, опять заглядывает в самую глубину моих глаз волнующе, тревожно.

“Вот сейчас взять и сказать! — думаю я. — Да-да, надо сразу сказать! Да что сказать-то? — сомневаюсь в следующую минуту. — Будь моей женой? Или выходи за меня замуж? Неужели и так не понятно и об этом обязательно надо говорить?”

И опять минута была упущена. Но я даю себе слово, что рано или поздно обязательно об этом скажу, хотя бы вечером, да-да, именно вечером, днём об этом как-то не говорилось, чего-то было совестно, что-то мешало.

Но ни в тот, ни в другой, ни в третий вечер и даже через неделю я так и не решился сказать ей об этом, сначала оправдывая себя тем, что и так всё ясно, без слов, а потом просто боясь связать свою свободу обещанием хоть и желанным, но которого я почему-то побаивался. Нет, я был убеждён, что люблю Еву, и другой жены себе не желал, но что “всё случится” так скоро и, главное, так “обыкновенно”, — с этим я примириться не мог.

А ещё мне хотелось как можно дольше продлить то очарование, в котором я находился все эти дни.

Всё шло, как в сказке.

В два часа Ева приезжала из кулинарного училища, а в четыре я уже стоял на пороге её дома. Домой возвращался поздно и спал до обеда. Если было жарко, шёл на озеро с учебником, но, как правило, читая, почти ничего не запоминал. Всё не мог сосредоточиться, постоянно отвлекаясь и думая о Еве. Я мог думать о ней часами. Лежать на спине, заложив руки за голову, и смотреть в небо: на лёгкие облачка, на летящий по воздуху тополиный пух, на трепет листы, — и как-то через всё это любить Еву. Когда приходило в голову, что нужно заниматься, открывал учебник, читал несколько строк — и сразу же представлял себя на экзаменах, как я бойко отвечаю и получаю “отлично” по всем предметам, а потом учусь лучше всех, поступаю в аспирантуру, защищаю диссертацию, меня посылают за границу на симпозиумы, я привожу оттуда Еве подарки. Ева, разумеется, счастлива, гордится мной. И я горжусь, но виду не показываю, всегда прост и скромн, умом не кичусь, а даже, напротив, в простой компании родственников могу и пошутить, и спеть, и даже сплясать. Надо обязательно научиться петь и плясать. Во всяком случае, если не стану академиком, можно прославиться на сцене. Хотя лучше всё-таки стать академиком. Работать, не покладая рук, до зари. Всякий раз, когда наступает утро, Ева приносит мне чашку кофе. В знак благодарности я целую ей руку, Ева улыбается и говорит, что у меня прибавилось несколько седых волос, но что седина мне идёт. А я говорю: “А ты совершенно не переменилась, всё такая же, лучше всех!..”

А потом...

Потом какая-нибудь пушинка залетала мне в нос. Я чихал, трезвел. Брался за учебник, зевал. И, наконец, откладывал учёбу до другого раза, на потом, на завтра, на послезавтра, время терпело, садился на велосипед и летел в прохладу знакомой светлой комнатки. Снимал баян, садился и, как в забыт, следил за пером, бегущим по листу тетради, за тем, как Ева, задумавшись, мило хмурила брови, при этом думал: “И на меня она так же будет хмуриться, когда я буду неправ”. Она кусала ровными зубками конец авторучки и невидяще смотрела на меня, наконец, “замечала”, протягивала руку, горячую, лёгкую, с испачканным чернилами пальчиком, и говорила:

— Я такая эгоистка! Совсем не думаю о том, что тебе надо готовиться к экзаменам. Я знаю, сам ты не уйдёшь, а мне так хорошо, так спокойно заниматься, когда ты рядом.

И я молча трус щекой о горячую ладонь её до локтя обнажённой руки, и все эти заботы о Киевской и Московской Руси кажутся мне чем-то совершенно посторонним, не имеющим ничего общего с моей влюблённостью, с её нежностью, вниманием ко мне, с тёплым вечером за распахнутым окном, яркой зеленью сада, жужжанием зацепившейся в паутине мухи.

— Разве утопающий думает о еде?

— Утопающий? Ты?

— А то кто же! Особенно, когда ты так смотришь на меня. Послушай, как бётся.

Она прикладывала ладонь к моей груди, улыбалась. А я говорил, что с ума схожу от её улыбки. И тогда она начинала улыбаться как-то театрально, неестественно, и я уже ругал себя за то, что сказал ей об этом. И хотя теперь мне не нравилась её улыбка, приятно было видеть, что улыбалась она затем, чтобы нравиться мне.

Все эти дни, всё это время я был счастлив. И так продолжалось почти месяц, до Евиных именин.

Тогда, помнится, выходя вечером из квартиры, глянув на себя в зеркало с волнением, я вдруг отчего-то ощутил стыд.

“Нехорошо!” — попробовал я усовестить себя. Но мне не было нехорошо на самом деле. Как очарованный, смотрел я вокруг. На озеро, дремлющее в вечерней прохладе. Солнце только что зашло, но ещё горело над плотиной небо. Блестел тонкой полоской месяц. Сады погрузились в безмолвие. Редко где чирикнет воробей, кинется через дорогу, задрожит под ним ветка, зашуршат листья — и опять тишина, давящая, словно и впрямь что-то обещающая.

Стол был накрыт на веранде. Из гостей пока никого не было, я пришёл первым, но, как успел заметить, был гостем самым желанным. Ева сама казалась чем-то взволнованной: щёки пылали, глаза блестели тревожной радостью. Приняв букет, она потерянно улыбнулась и ушла в дом за вазой.

Стали подходить гости: сначала две девушки-соседки, затем старшая Евина сестра с мужем, и последними вышли родители, отец — с баяном в руках.

После обычных поздравлений и пожеланий выпили, стали закусывать. Мне совершенно не хотелось есть. От водки заложило уши, и я словно погрузился в другой мир, как из-под воды улавливая обрывки разговоров. Умом, например, понимал, что между тещей и зятем натянутые отношения, что-то и между женой с мужем неладно, но это меня ничуть не задевало. Подружки весело щебетали о своём. Отец семейства, прижавшись щекой к баяну, играл “Зачем, зачем я повстречала его на жизненном пути” и отрешённо плакал. Но вдруг принялся рвать меха и выкрикивать, как, должно быть, в войну (фронтовик всё-таки) на корме катера, когда шли в атаку: “Я Васька-а-а!” И тут же был удалён из-за стола. Но без гармониста что за сиделки? У зятя, меж тем, всё больше и больше косоило на сторону рот, но он, очевидно, ещё не окончательно созрел для скандала и, понимая это, жадно искал глазами бутылку. Но все бутылки (их и было-то всего две — с “беленьким” да с “красеньким”) давно были под столом, напоминая о себе при всяком неосторожном движении ногой.

Когда, наконец, мы очутились на улице, было уже темно. Подружки шли впереди, мы с Евой, крепко взявшись за руки, — сзади. Стараясь попать в ногу, раскачивая в такт мою руку, Ева забавно пародировала сказочного короля из “Бременских музыкантов”:

— Така-ая, сяка-а-ая покинула отца... Така-ая, сяка-ая сбежала из дворца...

И заразительно смеялась.

В парке было полно народу — на танцплощадке и вокруг. Знакомые и незнакомые, весёлые и печальные девушки и ребята, кто-то разговаривал, кто-то смеялся, одни танцевали, другие сидели. Всё это мелькало, как во сне, перед моими глазами отдалённо и незначительно, а самыми близкими и значительными казались Евины глаза, её похорошевшее от возбуждения лицо, улыбка...

Ночью я проснулся от безысходного страдания. Приснилось, что по какой-то роковой ошибке я женился на толстой, обрюзгшей женщине с неестественно большой грудью, огромным животом и толстыми круглыми коленями, отчего жизнь моя огненные погублена навеки. Мне стыдно не только показаться с этой развалиной на людях, но даже признать это дебелое существо собственной женой. Меня отвращает от неё всё: улыбка, с которой она смотрит на меня, как на собственность, с животным сладострастием, заплывшие жиром щёлочки кошачьих глаз, мясистый чувственный рот, цветное ситцевое платье, из которого чуть не вываливается массивная грудь. Я ненавижу её всею силою души и в то же время понимаю, что связан с нею порочной близостью навеки. И страдаю, мечусь от безысходности положения, пока, наконец, не просыпаюсь.

Но и по пробуждении не сразу доходит до меня, что это всего лишь сон, что я на своём диване, что за окном полощут зарницы, выхватывая из мрака серебряную листву тополей. И долго лежу с открытыми глазами, вспоминая вчерашнее, как-то соединившееся с ужасом кошмара.

Когда просыпаюсь в другой раз, в комнате не по-летнему сумеречно. Серое низкое небо за окном. Надо ли добавлять, что день прошёл в муках, и вечером впервые я шёл на свидание с такою тяжестью на душе, какой не испытывал ещё никогда? Как глянуть после случившегося вчера в глаза ей, что говорить?

Дверь открыла тёща. Посмотрела недружелюбно, с затаённой досадой, которую против желания должна была сдерживать теперь.

Когда, наконец, увидел Еву, поразился: такую она показалась мне пудрневшей за эту ночь! В лице ни кровинки, болезненные розовые пятна на щеках, подглазины, как у чахоточной, нос распухший.

Никогда я не произносил с такой неизбывной горечью её имя. А произнеся, пронзённый жалостью, прибавил:

— Ева, я не знаю... Что хочешь... Я всё...

Сделав нерешительный шаг, остановился, не зная, можно ли после всего, что произошло вчера, обнять её, не будет ли это выглядеть очередным оскорблением.

Быстро на меня глянув, Ева опустила глаза и предупредительно коснулась моей руки ледяными пальцами.

— Не надо.

— Ты не прогонишь меня?

Она опять подняла глаза. Но горели они уже непривычно сухо, словно что-то пропало в них после вчерашнего навсегда.

— Представляешь? Я вчера чуть не отравилась димедролом. Я не могла заснуть. Я не думала, что это так опасно. Я не сказала маме, но она, кажется, догадывается.

И с заботливостью жены стала обирать невидимые ниточки с моего пиджака, вымученно улыбнулась, любяще, как-то до жалости преданно заглядывая в глаза. И было что-то ужасное в этой её покорности, в отсутствии прежней девичьей гордости, но что надо было принять покорно, как наказание за то, что произошло вчера. И я принял это покорно, как должное, уверяя себя, что люблю Еву по-прежнему, и ничего для меня не переменялось.

Но это было не так. И хотя я любил её всем существом своим, любовь моя казалась чем-то состоявшимся, о чём не стоило много заботиться. Всё чаще и чаще стала охватывать меня тоска по чему-то несостоявшемуся в моей жизни, словно бы променял что-то возможное осуществиться в будущем, великое и славное, на что-то обыденное, тусклое и невзрачное. Тоска сосала сердце и в минуты свиданий. Я ощущал в себе силы, которые, думалось, были скованы вынужденным бездействием. Ева не переменялась ко мне, но я чувствовал, как что-то переменялось во мне. Свидания наши час от часу становились тягостнее. Несмотря на то, что я продолжал ходить к ней каждый день, ходил уже не как прежде, не как на праздник, а словно по обязанности. Ева понимала это. Всё чаще я стал замечать на себе её внимательный, задумчивый взгляд. Спрашивал, о чём она думает, почему так странно смотрит на меня. Ева встряхивалась, растерянно улыбалась и отвечала, что ни о чём не думает, а просто на неё иногда находит. Я, скуки ради, допытывался, что же это такое на неё находит, о чём мне знать нельзя, и однажды нарвался на объяснение.

— Мне кажется, ты переменялся ко мне.

— Я?

— Да. Словно вовсе и не ко мне ходишь, а просто посмотреть телевизор или поиграть с папой в шашки. Как войдёшь, сразу берёшься за программу.

— Ты стала мнительной? — спросил я не без досады, задетый за живое, и подумал: «Если всё этим кончается, что же тогда — любовь?»

— Хорошо, пусть я мнительная, — сказала она и демонстративно замолчала, отчего у меня, как в тот день, после именин, невыносимой жалостью схватило сердце.

И тогда, коснувшись её руки, я стал просить прощения, уверяя, что больше этого не повторится, что больше не прикоснусь ни к программе, ни к пашкам, вообще ни к чему на свете...

Но прежнее, увы, не возвращалось. Подобные объяснения стали случаться чаще, превратившись в забаву для меня и в муку для Евы. Любовь моя, лишившись тайны, утратила привлекательность. Я чувствовал себя скорее зависимым, чем влюблённым. Мне было жаль Еву, и только. Что-то безвыходное было в наших отношениях. А тут ещё эта история...

Но прежде, чем рассказать её, я вынужден сделать экскурс в предысторию. Знаешь, как плакал Адам по изгнанию из Рая? Сказано об этом прониновенно: “Сидел прямо Рая”. Что означает — напротив. Но именно так “сидит” всякая душа “прямо” мучащих её воспоминаний, плача о невозвратимой потере. Слезы души, дорогой мой, — особенные слёзы. Их не видит никто. А есть ещё и другие, не доступные твоему пониманию слёзы, о которых я тебе, конечно же, расскажу. Ты думаешь, легко было Адаму перенести убийство любимого сына? И кем — своим же родным братом! Я имею в виду убийство Каином Авеля. Об этой скорби умалчивает Писание, но вспомни, как горько плакал Давид, как непрестанно восклицал: “Авессалом, Авессалом, сын мой” И если идти по Ветхим страницам дальше, то можно встретить ещё более неприглядные истории, которые способны заставить содрогнуться самое чёрствое сердце. Но это уже другая история. Я же хотел сказать тебе всего лишь, что и душа сынов Адама долго не может смириться с потерей собственного рая, и хотя чувствует, что сама всему виной и ничего не вернуть, как мотылёк на огонь, слепо летит на очередную приманку, всё чудится ей, может, там, на другом краю света, она вновь обрящет его?

А теперь о том, что произошло...

7

В тот день с утра по обыкновению я пошёл с учебником на озеро. Однако, подходя к своему месту, обнаружил его занятым. Иначе — узрел перед собой на расстеленном покрывале двух обнажённых до купальников девиц в широких белых панамах, в одной из которых узнал свою одноклассницу, соседку по площадке, а в другой...

И тут никак нельзя обойтись без очередного экскурса в историю, и я опять принуждён вернуться к тому восхищению, которое впервые испытал после школьных каникул. И с этой, скажем, Ноемой (раз уж мы начали пользоваться библейскими именами) мы познакомились поздней осенью, когда, выйдя из больницы, куда я попал благодаря эпидемии дизентерии, остывшую землю прихватывали утренники, а в школе давно отзвенел первый звонок. Познакомились через эту самую одноклассницу, приходившуюся ей какой-то дальней родней. А приехала она аж из Петропавловска-Камчатского к бабушке на всё лето и по причине внезапного карантина, из-за эпидемии дизентерии опять же, осталась учиться у нас на всю первую четверть.

Не поверишь, но тогда ко мне, как, впрочем, и ко многим моим ровесникам, явилась муза, и я каждый вечер выходил на площадку, к окну, с новым выстраданным, как правило, втайне от всех творением. Что же Ноема? Читая, она мимоходом делала неприемлемые для авторского самолюбия замечания, вроде: “А “не” с глаголами пишется раздельно... а тут надо поставить запятую... а “девчонка” пишется через “о”... а последняя строка вообще выбивается из ритма, а...” Но я уже не мог выносить дальнейшего издевательства и, выхватив из её рук, мял листок.

— Зачем?! — в свою очередь возмущалась она. — Ну, и что, что с ошибками, это же не школьное сочинение! Главное — талант, а он у тебя есть! — Я надменно усмехался. Она продолжала настаивать: — А я говорю — есть! Как у Есенина! Или нет! Как у Асадова! Асадов же — это ва-а-бще-э!

И вот мы втрём бредём через наш лес в сторону аэродрома. Ноема с моей одноклассницей впереди, я, чуть поотстав, следом. Где-то неутомимо сту-

чит дятел. Лес по-осеннему прозрачен и тих. Я, как и полагается в подобных ситуациях, печален, оттого что влюблён.

“Мне грустно потому, что я тебя люблю, / И, зная молодость цветущую твою, / Слезам и тоской заплачешь ты судьбе, / Мне грустно потому, что весело тебе”, — мстительно читаю про себя подходящее к моему положению стихотворение Лермонтова.

У Лермонтова на этот счёт много чего подходящего. У Есенина — ещё больше. Но ничего подходящего к своему состоянию из Есенина в тот день я подобрать почему-то не смог. Словом, я был сама грусть и печаль, Ноема же, напротив, будто назло, была беспечна и весела, как дитя. Увлечённо разговаривала с одноклассницей, а на меня если и оборачивалась, то лишь затем, чтобы проверить, не подслушиваю ли я их секреты. И тогда я специально отстал, прячась за стволами сосен. И когда, наконец, они меня стали аукать, я вышел к ним с видом человека, занятого разглядыванием обыкновенной сосновой шишки. Потом я фотографировал их на фоне стога сена, затем попросил меня сфотографировать возле сосны и принял серьёзный вид. Когда же от меня потребовали, чтобы не воображал и улыбнулся, я ответил, что терпеть не могу легкомыслия.

Ну, а потом она уехала. Я, скучая, писал ей письма в стихах. Она отвечала мне регулярно, но писала об учёбе, о погоде, о книгах, которые прочла. Чего только я не выдумывал, чтобы возбудить в ней хотя бы каплю ревности. Даже послал, помнится, как-то стихотворение, которое заканчивалось примерно такими словами:

*Позабить тебя хотел с другою,
Но и это не под силу мне.
Как же быть, что делать мне с собою,
Для меня покоя нет нигде?*

Недели через две (увы, мой мальчик, таковы были времена, столько приходилось ждать и томиться в ожидании письма) или даже больше в ответ на моё пылкое признание приходит довольно длинное, аккуратным почерком Евы написанное назидательное послание, что, мол, она “ещё маленькая”, что ей не о глупостях надо думать, а об учёбе, что и мне самому не мешало бы подумать об этом. Словом — учиться и учиться. Нетрудно догадаться, что письмо это было написано под диктовку. И тогда, в обиду на весь белый свет, прощаясь, так сказать, навеки, я послал ей стихотворение, которое оканчивалось такими примерно горестными строками: “Но не пойму никак я, почему / Письмо ты мне писала не сама?” Хотя — что же тут непонятного?

В общем, переписка наша прекратилась.

Кстати, о переписке...

В твоих глазах я читаю сожаление к нам, несчастным. Куда, мол, теперь лучше и удобнее: купил компьютер, создал почтовый ящик — и переписывайся. Если же нет компьютера, можно по сотовому телефону обмениваться “эсмэсками” — дешево и сердито. Но не спеши с выводами, дорогой мой, умоляю тебя, не спеши. Действительно, письма в ту пору были единственным способом общения на расстоянии. Кроме междугородки, разумеется, которой редко кто пользовался. А вот эпистолярный жанр процветал. Нынче, похоже, он умер. И если я, например, теперь не могу заглянуть в твой почтовый ящик, то прежде трудно было скрыть от родителей, от соседей или от сослуживцев (в армии, например) приход письма. А если всё-таки удавалось, приходилось прятать его подальше. Но куда дальше дома или казармы спрячешь? Ты скажешь: “Какой ужас!” Как знать, мой мальчик, как знать...

И я, пожалуй, расскажу тебе, как это происходило.

Нет, не просто сел и написал. А в первую очередь, заметь, идёшь на почту и покупаешь конверт, и не какой попало, с красной звездой, Днём Победы или каким-нибудь Первомаем, а непременно с намёком, скажем, с розочкой, гвоздиками или пейзажем. Потом подбираешь бумагу. Обязательно не шершавую, чтобы при написании никакие плохо спрессованные махры не

мешали скользить перу, а чернила не расплывались от рыхлости бумаги подобно кляксам круглых двоечников. Разумеется, это был тетрадный листок, чаще всего — в клеточку, а не в линейку, потому что красную линию справа я физически не переносил: видите ли, кто-то смеет разливу моих чувств устраивать какие-то границы. А что ты удивляешься? Ты же не носишь у себя на лбу пароль своего почтового ящика? А, спрашивается, почему? Да всё по той же причине: что хочу, сколько хочу, каким интервалом и кеглем хочу, так и пишу. И потом, на листе в клеточку текст выглядел намного солиднее и — главное — не походил на школьные сочинения, от одних названий которых тошнило. “Луч света в тёмном царстве”, например. Или: “Роль Ниловны в романе Горького “Мать”, “Платон Каратаев как олицетворение народной правды в романе Л. Н. Толстого “Война и мир”. Ещё перечислять? Достаточно? Тогда продолжим.

Итак, лист аккуратно вынут, а не выдран из общей, специально приобретённой для этой цели тетради, перо авторучки тщательно промыто, и направлена она свежими чернилами, качество работы опробовано на полях черновика. Увы, дорогой мой, но сначала создавался черновой вариант. Весь исчерканный и перечёрканный. Сто раз при этом приходилось заглядывать в орфографический словарь и в синтаксический раздел учебника, чтобы правильно расставить запятые и тем избежать некорректных замечаний по поводу малограмотности. Когда эта работа была закончена, всё аккуратно переписывалось начисто — иногда по несколько раз. Затем творение с затаённым дыханием перечитывалось, складывалось вдвое и запечатывалось в конверт. Географическое соотношение адресов при этом тоже заставляло волноваться. Ты представляешь, что такое Камчатка? Впрочем, о ней речь впереди.

Ты одеваешься, прячешь в нагрудный карман пальто или пиджака письмо и бежишь к ближайшему почтовому ящику. Они, как тебе известно, до сих пор синие. Отворяешь вечно спящее, как у кукол, веко и проталкиваешь в щель письмо. Всё! Теперь наступает самое мучительное и самое приятное время.

Ты воображаешь, как через половину Валдая, Урал, Сибирь и Дальний Восток летит на транспортном самолёте твоё письмо сначала до Владивостока, затем до Камчатки и, наконец, попадает в потонувший в морозной дымке военный гарнизон Петропавловска-Камчатского. На рейде, как неоспоримое могущество великой державы, дрейфуют эсминцы, авианосцы и сторожевые катера. Военный городок неподалёку. Едва приметное, невзрачное среди других домов гарнизона или даже встроенное в одно из них небольшое здание почты, куда приходит твоё, хочется верить, долгожданное послание. То, как она его будет читать, я пытаюсь вообразить ещё при его написании.

Но вот проходит неделя, подходит к концу вторая. Я весь в ожидании, я не нахожу себе места, несусь из школы как угорелый, чтобы первым заглянуть в почтовый ящик. Но, как правило, первой обнаруживает письмо мама, проходя с работы на обед. Был у нас тогда, мой мальчик, коммунизм, и во всех подъездах висели простые деревянные ящики с нишами, которые открывались фанерной задвижкой без замков. Казалось бы, бери и читай чужие письма. Трудно ли их умеючи распечатать? Подержал над кипящей водой конверт — и читай. Прочитал — заклеил, назад положил. Всё, теперь ходи да над чужой тайной ухмыляйся. Так нет же, никто, при нашем тогдашнем коммунизме, этого себе делать не позволял, даже если по ошибке письмо попало в чужой ящик. Если не посмотрят сразу на адрес получателя, то, обнаружив дома ошибку почтальона, сразу отнесут по назначению, да ещё с извинениями, что, мол, такая вот оказия приключилась. А всё потому, ещё раз повторяю, что жили мы тогда при коммунизме. Как — куда делся? Закончился, как и всё на этой грешной земле. При чём нынче живём? А я почём знаю? И потом — какая разница? Главное — живём! А как — это уже другая история.

В общем, прихожу я домой, а твоя бабушка встречает меня известием, что мне письмо. Я с разгону спрашиваю: “От кого?” И тут же по её улыбке догадываюсь, от кого именно, краснею, снимаю пальто, ботинки, а портфель зачем-то уношу в ванную комнату и там оставляю на стиральной машине. Сognaв в ванной комнате усилием воли младенческую красноту, иду,

заметь, сначала на кухню, а не несусь, как ненормальный, читать письмо. При этом делаю вид, что оно меня совершенно не интересует: ну, письмо и письмо. За обедом же и суп, и макароны солю до тех пор, пока мама не вырвет из моих рук солонку: “Ты с ума, что ли, спятил?” Предательская краснота опять начинает подпалывать мои уши. Но я, подобно голодному псу, не жуя, проглатываю всё, говорю “спасибо” и, забыв о портфеле, закрываюсь в спальнной комнате *делать уроки*.

Ты даже не представляешь, что такое долгожданное письмо “от неё”. Уж поверь, это далеко не то же самое, что у тебя в компьютере. Дрожащими руками ты распечатываешь конверт, вынимаешь письмо, разворачиваешь, и первое, что поражает тебя, — почерк. Почему-то именно он в первую очередь говорит о том, кого и за что ты любишь. Сначала письмо пробегаешь глазами, как будто пропускаешь стакан водки залпом, затем начинаешь цедить и смаковать по капле, как хорошее вино, и долго ещё тянешь из него этот сладкий нектар, сопровождаемый буйством воображения и разнообразных переживаний. Носишь у сердца, как святыню. Даже целуешь или скачешь с ним вокруг стола, если один в квартире. Ну, понял теперь, что такое письмо? И кто после этого несчастнее? То-то же, брат.

Так на чём мы остановились?

Ну, да, переписка закончилась. Затем служба в армии с её скучными, однообразными буднями, медленно текущее от подъёма до отбоя время, тоска по дому. И вдруг — письмо! Да, от неё, от Ноемы. Пишет, что адрес узнала через одноклассницу, просит извинения за “то глупое письмо”, спрашивает, как мне служится, не переписываюсь ли я с кем-нибудь, и если нет и не возражаю, то она будет писать мне и посылает фото на память. Такое, надо сказать, уж очень любительское фото, как будто затуманенное, ужасно нечёткое, но даже и такое, стоило только показать, тотчас пошло по рукам и буквально у всех сослуживцев вызвало зависть и море приставаний, в смысле, где такую отхватил, спроси, нет ли у неё такой же подружки или сестрёнки. Сестрёнка, кстати, была, но по сравнению с ней — земля и небо. Письмо же пришлось как никогда кстати. Трудно служивому без весточки с родимой сторонки, а тем более без писем от “девушки”. Ведь каждый день в тридцать лужёных глоток ревели: “Не плачь, девчонка, пройдут дожди, / Солдат вернётся, ты только жди, / Пускай далёко твой верный друг, / Любовь на свете сильней разлук”. Не слышал? А эту? “Через две, через две весны, / Через две, через две зимы, / Отслужу, как надо, и вернусь”. Тоже не слышал? Жаль... Но к делу.

Короче, завязалась переписка. Ничего, разумеется, особенного — о том, о сём и ни о чём конкретном с её стороны, и прямо какая-то необузданная фантазия с моей. Даже муза опять посетила. И кое-что я тебе сейчас даже воспроизведу. Что-то там...

*Захлебнувшись страницей в скат,
На сосёнке, снежком овеванной,
Читает письмо солдат.
Пишет девушка строчки нежные,
Вспоминает цветущий сад,
Старый пруд, окаймлённый вербою,
Сердцу милый, родной фасад.
И усталость усладю кажется,
Холод — летнего полдня жарой.
Это с голосом девушки вяжется —
Той единственной, дорогой.*

Как тебе? По-моему, неплохо. Не Бог весть что, но состояние моё тогдашнее вполне передаёт. Но, как водится, под “дембель” — её неожиданное признание в предостыдном замужестве, выпадение из поля зрения и, наконец, как снег на голову — эта встреча.

За три года, что не видел её, она из наивной девочки превратилась прямо-таки в настоящую, знающую себе цену красавицу. В первую минуту да-

же что-то вроде сожаления о потерянном счастье шевельнулось под сердцем. Однако же спешу прикрыть смущение напускной весёлостью.

— А я слышал, кто-то выходит замуж за военного?

— Только не я, — стонет соседка.

— Что так?

— Закомплексованный народ: отбой, подъём — скучища!

— Жестоко, но возразить нечем.

— И я про то же.

Что Ноема? Без тени стыда смотрит прямо мне в глаза. И это бы ничего. Но именно с того момента меня начинает неудержимо тянуть к ней, но — не прежнее, а вызванное этим её прямым, без стыда, взглядом.

Надо ли говорить, что весь оставшийся день прошёл в ожидании этого чего-то. Я ушёл домой, как только сошла утренняя роса, сказав, что не могу заниматься в жару. Дома повалился на диван в возбуждённом состоянии. Мама несколько раз звала обедать, я отвечал: “Иду”, — а сам не трогался с места.

Уже под вечер через входную дверь я услышал на лестничной площадке “их” голоса. И хотя пытался убедить себя, что это меня не касается, на самом деле это было не так. Я был во власти владевшего мною чувства.

Когда за окнами сгустилась тьма, я оделся и вышел во двор, уверяя себя, что иду к Еве, на самом же деле решил “в случае чего” не ходить.

А через пять минут и сам “случай” представился: дверь подъезда распахнулась и на пороге появилась Ноема. Увидев меня, понимающе улыбнулась. И я точно сорвался с горы: “Пройдёмся?” И, словно заранее сговорившись, мы повернули к дамбе. Следуя на некотором расстоянии сзади, я словно старался показать этим кому-то, что Ноема сама по себе, а я — сам по себе, хотя было темно и вокруг — ни души. И таким образом мы перешли на другую сторону озера. И там, в сокрытом от посторонних глаз месте, я позволил себе обнять и поцеловать Ноему.

Слава Богу, ничего, кроме этих воровских поцелуев, между нами тогда не произошло. И вовсе не оттого, что я этого не хотел: в ту минуту я был, как послушный ягнёнок, и до сих пор не понимаю, почему вдруг остановилась она, хотя прекрасно знаю, что после замужества сменила пару мужей. Откуда про это знаю? Да подкузьмил лукавый свидетель ещё раз, о чём, само собой, речь впереди, а пока о том, что произошло тогда. Что же относительно её тогдашнего поступка, мне видится в нём довольно банальная причина: похоже, она ещё раз хотела убедиться, что обаяние её сильнее моей любви. И всю дорогу назад я в душе поносил её и себя за непростительное малодушие.

И почти до утра я промучился без сна. Как после всего этого взглянуть Еве в глаза? Что сказать, почему я у неё не был? Казалось, начни врать, и Ева сразу обо всём догадается.

8

К утру я забылся тяжёлым сном и проспал до полудня. Поднялся разбитый. Вчерашнее представлялось тяжкой изменой. Это был первый день, когда я не пошёл к Еве, и впервые ожидал вечера со страхом. Отправился, словно на каторгу, в калитку вошёл, точно вор, на крыльцо поднялся, как на эшафот. И, словно ножом по сердцу, полоснула меня счастливая Евина улыбка, любящий взгляд, а затем беспокойство, когда без тени сомнения выслушав ложь о “солнечном ударе”, она спросила:

— Теперь ничего? Говорят, от этого даже умирают. У нас одного мальчика, помнится, еле спасли. Как же ты не заметил?

Что я мог ей на это ответить?

Была суббота и, выйдя на улицу, мы по обыкновению пошли на танцы. Всю дорогу недобрые предчувствия терзали меня. На что, собственно, я надеялся? Зачем надо было врать? Когда и что в нашей деревне оставалось тайной? Так и вышло.

Стоило нам войти на танцплощадку, буквально тут же рядом очутилась

Ноема. Приветливо кивнула мне, презрительно смерила с ног до головы Еву. Ева с недоумением спросила:

— Кто это?

— Это? А-а... Я тебе не говорил разве? В армии с ней переписывался. Замуж выходит.

Ева внимательно посмотрела мне в глаза, и тогда я с деланным удивлением выдал:

— Ты мне не веришь?

И чего никак не ожидал, поставив меня в неловкое положение, Ева вдруг пошла с площадки. Из одного самолюбия я не кинулся тут же следом, а вышел немного погодя, как бы уже сам по себе, небрежно сунув руки в карманы брюк. Но стоило скрыться за клубом, припустил со всех ног.

Я догнал Еву уже на половине пути, схватил за руку, остановил.

— В чём дело?

Ева молча высвободила руку.

— Нет, ты скажешь, наконец, какая муха тебя укусила? — тоном оскорблённой невинности продолжал настаивать я. И тогда она спросила прямо:

— Зачем ты меня обманул?

— Я-а?

На моё притворное удивление Ева даже ногой топнула. Такого с ней ещё не бывало.

— Да мне уже всё рассказали! Зачем же ты врешь?

Что было говорить?

Ева опять пошла. Но я, догнав её, остановил.

— Ты можешь меня выслушать или нет? Ну, ничего у меня с ней не было! Ну, честно тебе говорю!

— Почему тогда сразу не сказал?

— Чтобы не расстраивать.

— А почему она на меня так посмотрела?

— Мне почём знать? Мало ли! Из вредности, может.

И я стал рассказывать Еве всё (ну, не совсем всё), что произошло вчера и что было прежде.

Она внимательно выслушала. Выдержав томительную паузу, спросила:

— И почему бы тебе на ней не жениться?

— Почему это я должен на ней жениться?

— Ну как... Ты же любил её... Письма писал, стихи...

— И что? — взорвался. — Мало ли кто и кого когда-то любил! Да я... Я, может, всю ночь не спал после того!

— После чего?

И в этом, дорогой мой, все женщины. Мне ничего не оставалось, как в обиде на весь белый свет демонстративно замолчать. Ева тоже весь оставшийся путь прошла молча. На прощание даже не обмолвились о встрече. И я впервые ушёл с мыслью, что всё кончено навеки, и жизнь для меня потеряла всякий смысл и радость.

9

На следующий день я не пошёл к Еве, чтобы наказать её за холодность, с которой она простилась со мной. Не пошёл я и во второй день, в случае чего думая отговориться наступившим ненастьем. И всё это время провалился на диване, как в летаргическом забвении, словно сквозь сон, улавливая накрапывание по жестяному сливу дождя, унылый шелест листвы за окном.

Когда приходила с работы мама, я убирался в спальную комнату, садился за письменный стол и тупо смотрел в учебник. Меня охватывал ужас от одной только мысли, что дальнейшая моя жизнь может продолжаться без Евы.

В третий день я был в парке на встрече с одноклассниками, пришедшими со службы и, захмелев, кричал, что никогда не женюсь или, по крайней мере, после тридцати, и то "от усталости", а "не из любопытства". И всё хохотал, острил, стараясь казаться безнравственным, в то время как умом и сердцем был у Евы.

Вернувшись домой, плюхнулся на диван и проспал до вечера. Поднялся с тою же тяжестью на душе. Ненавидяще глянул на себя в зеркало, долго стоял под душем, ещё дольше растирался полотенцем. Легче не стало. Я постоянно с тревогой поглядывал на часы, на улицу. Не пойти сегодня — значило не просто не пойти из-за дождя. Дальше тянуть было некуда.

“Всё равно уж... — решил я в отчаянии, злясь на себя за то, что ничего не могу с собой поделать. — Схожу — а там будь что будет!”

На улице не было дождя, но воздух насквозь пропитался влагой. Деревья шумели на ветру тоскливо, тревожно.

Дверь открыла Ева — усталая, грустная. Глянула на меня как на пустое место, равнодушно. Запахнувшись в бордовую кофточку, поёжилась и молча пропустила на веранду. Это равнодушие и подхлестнуло меня.

— Вот что, подруга, — заявил я не терпящим возражений тоном. — Или нам надо поскорее пожениться, или я не знаю...

— Что ещё за “подруга”? И что за тон? И потом, к чему такая спешка? — возразила она, по-прежнему на меня не глядя.

— Почему бы нет?

— Не будем об этом.

— Почему?

— Там видно будет.

— Где это — там? — не отступал я. — Ты можешь ответить прямо? Согласна ты или не согласна? — Я замер в ожидании. Прошла минута, другая. Я был весь на взводе. Казалось, ещё чуть-чуть и взорвусь. Ева, наконец, выдавила из себя:

— Сам знаешь.

Я тут же уцепился за подачку, как за соломинку.

— Тогда я не понимаю. Ты согласна выйти за меня и в то же время говоришь, что не можешь выйти теперь. Почему?

— Мама говорит, когда ты поступишь в университет, найдёшь себе образованную.

— Что за чушь! — взорвался я. — И при чём тут образованная? И вообще! Какое мне дело до того, что думает по этому поводу твоя мать? Сама ты как думаешь?

— Я без маминого согласия не пойду. И потом... Я не хочу стеснять тебя, — продолжала она упрямо, как по писаному, отчего я ещё больше выходил из себя. — Разве нельзя подождать со свадьбой? Если только мы действительно любим друг друга...

— Прекрати! Ты понимаешь, что говоришь?! — перебил я. — Что значит — если только? Что за предосторожности? А обо мне ты подумала, наконец? Я, может, не могу и не хочу больше ждать! Плевать, в таком случае, на университет! И потом я, может, сам боюсь, что ты меня разлюбишь или что-нибудь случится.

— Что же может случиться?

— Мало ли! Жених какой-нибудь богатенький подвернётся! — выпалил я желчно, не владея собой.

— Эх, ты-ы! — вдруг выдохнула она дрогнувшим голосом, с укором, не выдержав игры в благоразумие взрослых людей. — Неужели ты не видишь, как я тебя люблю? Неужели ты слепой? Посмотри! Да я на себя не похожа! На меня и не глянет теперь никто, какая я стала! И всё — из-за тебя! А ты!.. Я всю ночь после того плакала! И потом, и вчера! И мама видела! Почему ты не приходил два дня?

Она отвернулась к стене. Я кинулся её успокаивать, просить прощения, клясться, что не сойти мне с этого места, чтобы я хоть ещё раз...

Разумеется, она простила. Мы помирились. Свадьбу всё же решили отложить до осени. Я не настаивал. Несмотря на горячность, мне все-таки хотелось поступить в университет, а там можно было перевестись на заочное отделение.

Но примирение принесло облегчение ненадолго, а потом всё вернулось опять. Любовь наша день ото дня превращалась в какую-то муку. Ева прекрасно это понимала, страдала, мучилась, но ничего не могла поделать. Разрыв казался неизбежным. Так оно и вышло.

Однажды, вернувшись с работы, я обнаружил в почтовом ящике письмо. «Пишу только потому, что никогда бы не смогла сказать это тебе в глаза, а надо. Зачем притворяться и делать вид, что ничего не произошло, когда мы оба прекрасно понимаем, что прежней любви нет. Только пойми меня правильно и, прежде чем сердиться, подумай хорошенько, стоит ли. Из создавшегося положения выход только один — расстаться. Ева».

Казалось бы, чего лучше, не этого ли я ждал? Но что бы ты думал — сунув письмо в карман, я пошёл разбираться — из самолюбия, не больше. Меня, видите ли, гонят. И кто!

Но в дом меня не пустили. И я ушёл оскорблённый, свободный от всех обещаний и обязанностей.

Впрочем, ожидаемая свобода не принесла мне ничего, кроме новых мучений. Да ещё каких! Не прошло и недели, как я почувствовал себя одиноким и никому не нужным. Появилось сомнение, потом сожаление, затем страх, что прохожу я мимо своего счастья. Чего, собственно, я ждал? Что со мною будут носиться, как с писаной торбой? Попытки возобновить отношения ни к чему не привели — с Евой и впрямь что-то творилось.

В университет я не поступил, чуда не случилось, счастливых билетов мне не досталось, я устроился слесарем на завод. И всё это время, весь этот год до моего отъезда на Камчатку я жил с постоянной мукой в сердце, желая как-нибудь нечаянно умереть, чтобы уж ничего больше не видеть, не чувствовать, не знать.

За это время мы виделись всего несколько раз и то случайно.

Первый раз встретились в электричке, когда я возвращался с работы, а Ева — из своего кулинарного училища. Войдя в полупустой вагон, я увидел её сидящей у окна, и не сразу понял, что, прислонившись головой к стеклу, она спала. Сев напротив, я стал смотреть на неё. Казалось, ничего не изменилось в ней, ничего не выдавало тайных страданий. И тогда я понял, что люблю Еву какую-то сплошной болью. На минуту опустив глаза и подняв опять, я заметил, что Ева осторожно улыбается, но не во сне, это было понятно, хотя глаза были закрыты. Очевидно, проснувшись и увидев меня, она притворилась спящей. Я даже думаю, она специально улыбнулась, зная, как я люблю её улыбку.

Наконец, она решила проснуться, открыла глаза. Мы разговорились. И я назло ей постарался сделать вид, как хорошо мне живётся, что на работе у нас полно молоденьких девиц, которые не прочь выйти замуж. Ева ответила, что была бы этому только рада. Проводив её до дома, я ушёл с твёрдым намерением больше не приходить к ней никогда.

Но вторая встреча ошеломила меня. В тот вечер мы встретились на проводах в армию её двоюродного брата, с которым в последнее время крепко зашибали. Был всего лишь конец ноября, а снега легли основательно, и морозы стояли градусов под десять.

В тот вечер Ева сама усадила меня рядом с собой на лавку, не отпускала ни на шаг, танцевала только со мной. А потом мы шли совершенно пустой улицей вместо двадцати минут почти два часа до её дома и всю дорогу целовались. Снег искрился вокруг, мелкие снежинки летали по воздуху в свете редких уличных фонарей, на улице — ни души, только я и она. Ева, дурачась, кидалась снегом, пыталась меня уронить, я нарочно поддавался, и мы вместе летели в сугроб. И тогда под великим секретом она шептала, что любит только одного человека, хотя никогда и ни за что не выйдет за него замуж, а если узнает, что он женится, убьёт и его, и себя. В ту минуту я был истинно счастлив, думая, что всё вернулось. Прощаясь, мы даже договорились о встрече, но когда я пришёл на другой день, Ева прогнала меня, заявив, что никогда меня не любила, а вчера на неё просто нашло.

До глубины души оскорбившись, я хлопнул дверью и ушёл, как думалось тогда, уже навсегда.

Ближе к весне я стал ездить на выходные к армейскому другу. И там, бродя по улочкам небольшого окского городка, с сердечной болью стал осо-

завать, что теряю Еву. Ни одному её слову, будто она меня не любит, я, конечно, не поверил.

Валяясь по вечерам на скрипучей кровати, я подолгу рассматривал Евиную фотографию, которую втайне от домашних носил в нагрудном кармане пальто. Никто и не подозревал о моих мучениях. Я всегда старался казаться беспечным, шутил. Здесь же, в чужом городе, вдали от Евы, я не мог разыгрывать роль легкомысленного человека, хотелось хотя бы немного побыть самим собой. Когда же показал фотографию другу, то удивился, что она не произвела на него никакого впечатления.

II

А потом я умотал на Камчатку. Перед отъездом мы виделись с Евой последний раз. Я не мог уехать, не попрощавшись. Не зная, когда она вернётся из своего училища, я почти два часа просидел на лавочке у дома напротив, в закуске из акаций, где, бывало, прятались мы по вечерам, но так и не дождался её.

Был свежий вечер начала мая, с той обычной тишиной, какая наступала у нас с сумерками, изредка нарушаемой шумом проносающихся мимо поездов.

Когда кто-нибудь шёл по дороге, я выглядывал из укрытия — не она ли? — и садился на место, с тоской поглядывая на окна её дома. О чём только не передумал я в эти два часа. Мне шёл двадцать второй год, но я был убеждён, что жизнь моя погублена навеки, и хотя давно мечтал поколесить по свету, уезжал с неохотой. И как уехать? Всё это время я жил в каком-то полуживотном прозябании. Похоже, Ева и впрямь разлюбила меня, но я не переставал надеяться. Всё было как-то неопределённо.

Темнело на глазах. Глянув на часы, я вошёл в калитку и позвонил ещё раз. Опять вышла бледная копия Евы и категорически заявила, что если я не оставлю их в покое, она заявит в милицию.

— Неужели вы не понимаете, хотите вы или нет, рано или поздно Ева будет моей?

— Это мы ещё посмотрим!

Она хотела закрыть дверь.

— Да выслушайте же меня!

Дверь на мгновение остановилась.

— Что ещё?

— Скажите, сердце у вас или кусок гранита?

Дверь колыхнулась.

— Уезжаю я, на Камчатку, на рыбные промыслы... совсем... — прибавил для весу. — Да поймите вы, наконец, если я не увижу её, утоплюсь там в первый же день с тоски. Вам это надо?

Она недоверчиво покосилась на меня.

— Уезжаешь, говоришь? Когда?

Я глянул на ручные часы и безнадёжно вздохнул.

— Через двадцать минут. Скажите хоть, где она? Может, успею заскочить по пути на такси.

— Сейчас позову...

Боже, она дома, и я увижу её! Где же она прошла? Неужели задами, через соседей, как делала это иногда, чтобы избежать встречи со мной?

Я вошёл на веранду. Всё тут мне было знакомо: стол у большого, во всю стену окна, выходившего в соседний сад, два стула с той и другой стороны, на которых мы частенько сживали в былые времена по вечерам, и я с восхищением замечал, как с сумерками становились прелестней черты её лица. Никогда я не мог смотреть на Еву спокойно. Скажи она сейчас “останься”, и я бы ни минуты не сомневался.

Но когда она вышла, я понял, что радовался напрасно. Мой отъезд ничего для неё не значил. В светлом ситцевом платьице без рукавов, до боли любимая в своей неприступности, она остановилась поодаль, обняв себя руками.

Что было говорить? Я повторил, что уезжаю на Камчатку до зимы, а возможно, останусь навсегда.

— Счастливого пути, — отозвалась она с убийственным равнодушием, не глядя на меня.

— Конечно, я не заслужил большего, Ева.

— Не будем об этом.

— Нет, будем! Ты знаешь, что я не могу уехать, не выяснив всего до конца. Скажи, наконец, зачем ты держишь меня в этом унижительном неведении? Ответь прямо: надеяться мне или?..

— Я тебя не держу.

— Опять?! — не выдержал я. — Знаешь, как иногда мне хочется тебя убить?!

— А что? И убей! Да-да, убей! — выдохнула она вдруг с такою решимостью, что я даже испугался.

— Да что, в самом деле, с тобой происходит, скажешь ты, наконец?

— Да-да, убей! Туда мне и дорога! — продолжала она, не слушая меня, и вдруг, чего я не ожидал, подошла, прижалась и с какою-то неистовостью поцеловала три раза в губы. Тут же оттолкнула, отпрянув назад, прижав к груди руки точно в испуге за то, что произошло.

У меня даже в глазах помутилось.

— Я знал, я чувствовал, что ты всегда любила меня, Ева. Зачем же ты это делаешь? Я никуда не поеду после этого... — и хотел подойти, но в ту же минуту точно ушат ледяной воды выплеснули на меня.

— Нет! Нет! Уходи! Ненавижу! — как будто опомнившись, закричала она и убежала в дом.

Я вышел на улицу и, точно пьяный, оступаясь на каждом шагу, пошёл по дороге.

“Вот и отлично! И поговорили! И хорошо!” — успокаивал я себя, невидяще глядя на редкие огни фонарей. Пахло сиренью, чирикали на заборах воробьи, вокруг была самая чудесная пора, и только я, несчастный, должен был ехать куда-то на край света к ветрам, океану и мукам, которые заранее предчувствовал.

Дома уже волновались. Твоя бабушка, за всю жизнь никуда ни разу не опоздавшая, начала выговаривать мне, что такой-де я несерьёзный человек, что в первый же день меня погонят с путины в шею, что деньги просто так не даются...

— Ну, всё! Хватит! — оборвал я, берясь за чемодан.

— Чай, я тебе ма-ать, не чужая!

Она заплакала, а я нахмурился, тупо глядя вокруг. Всё, буквально всё напоминало о Еве — и тишина прозрачного вечера, и мерцание далёких звёзд.

12

С тем я и уехал.

Путину я оттянул от звонка до звонка. Не так уж и много, до зимы-то. Но за это время случилось непоправимое: Ева вышла замуж.

Как я это пережил?

А так вот и пережил. И ещё несколько лет подряд, как ты теперь мечтаешь, мстил “им всем” за себя, пока не повстречал твою маму. Мама, в таком случае, кто? Жена. Не к Еве, заметь, сказано, прилепится человек, а к жене, и будут “два в плоть едину”.

Как случилось, что мы поженились, спроси у неё самой. Хотя вряд ли она тебе расскажет. И я ничего не скажу. Знаешь, есть такие особенные родительские тайны, о которых детям лучше не знать.

Почему не мог не полюбить?

Только в моей любви на этот раз было столько предупредительной осторожности, приобретённой горьким опытом мудрости, что всё время женихества на этот раз прошло без сучка и задоринки. И потом, обрати внимание на свою маму, полистай альбом с её юношескими фотографиями и подумай: как можно было не влюбиться в неё?

А потом родились вы, твоя старшая сестра и ты, мой мальчик. И всё время, пока ты рос, росла вместе с тобою и моя любовь к твоей маме.

Что стало с Евой? Конечно, знаю. Она стала хорошей женой и матерью. Нет, не здесь, не у нас, а где именно, не всё ли равно?

И вот ещё что хотелось мне тебе сказать как бы в доверок: никогда не верь своему сердцу, не иди у него на поводу. И хотя говорят, сердцу не прикажешь, опыт подсказывает, что можно если не приказать, то занять его чувством не менее сильным, которое откроет для тебя новый путь. Об этом пути я и хотел бы, если не возражаешь, с тобой теперь поговорить.

Короче говоря, я женился. Но прежде надо сказать, что этого могло бы не произойти, поскольку буквально за месяц до встречи с твоей мамой в наши палестины неожиданно-негаданно нагрянула Ноема. Да, та самая. И я даже сначала подумал, что, может быть, она как раз и есть та, которую я все эти годы искал. Да ещё первая любовь к тому же.

За то время, пока мы не виделись, она успела родить дочь, помыкаться по воинским частям, развестись с первым мужем. Всё это я узнал от неё, когда мы столкнулись у входа в наш продовольственный магазин.

Был метельный февраль, тёмный вечер, снег пылил с крыш.

— Привет! — радостно воскликнула она и заговорила со мной так, как будто мы расстались только вчера.

Была она в лисьей шапке, в коротенькой лисьей шубке, в чёрной шерстяной юбке, короче, шик, а вот на ногах — уже явно местные валенки. Какой-то непривычно маленькой показалась она мне без каблучков.

Я ответил на приветствие. Скорее по инерции спросил, какими судьбами. Она тут же бегом-бегом всё и рассказала.

— Понятно. А к нам чего?

— Тебя соблазнять... — понизив голос, как бы шутейно заявила она.

— Нет, серьёзно.

— А если, — отвечает, — серьёзно, жажду настоящей любви!

Я делаю вид, что не понимаю намёка, желаю удачи на “данном поприще”. Мимо проходят люди, некоторые здороваются, иные оборачиваются, с любопытством поглядывая на нас, мы же никого и ничего не замечаем. И это наше стояние и впрямь могло показаться на что-то намекающим. И надо было извиниться и уйти, а я не двигался с места.

— Домой? — спрашивает она. Я киваю. — Жена, дети?

Говорю, ни тем, ни другим пока не обзавёлся.

— Я слышала, дом купил. Куркулём, говорят, таким заделался.

— Да подвернулась по дешёвке избушка, ну, и взял, можно сказать, для того только, чтобы деньги сохранить. Всё равно промотал бы.

— И много ты их промотал?

— Да на пару бы “Волг” хватило.

— Ух, ты! И не жаль?

— Денег? Не смейся, пожалуйста. Пришли — ушли.

— Показал, что ли, дом бы, в гости, что ли, пригласил бы? — как бы в шутку начинает напрашиваться она.

И тут я дрогнул. Стал мямлить, что ночую у матери, а так приходи, мол, смотри, жалко, что ли, только чего там смотреть, снаружи развалина, внутри бардак.

— Ладушки, загляну как-нибудь!.. А я дядьку ублажаю. Неделями не просыхает. Не нальёшь — люгый зверь, а плеснёшь — ласковее не бывает, вот, несу, — шевельнула она сеткой, в которой вместе с буханкой ржаного хлеба, батоном, пачкой сахара, банкой селёдки, какими-то кульками торчала бутылка водки.

— А знаешь что? Приходи к нам. Приезд отметим. Старину помянем. А что? Через часик примерно и приходи. А я пока картошки нажарю. Приходи. Придёшь?

И, не дожидаясь ответа, ушла.

Разумеется, не к родителям я пошёл, а к себе. Ты этот дом не видел. Мы продали его, когда надумали перебраться сюда. А так — дом как дом, газовое отопление, кухня, она же прихожая, слева вход в довольно простор-

ный зал. Мебель? Какая у холостяка мебель? Обеденный раскладной стол, четыре стула, тахта у стены, старенький шифоньер — у другой, телевизор с проигрывателем в углу на тумбочке, на окнах — простенькие задержушки. Всякое ненужное тряпье, старые газеты, журналы на столе, на стульях, на полу. Короче, бардак.

Придя домой, поставил на газовую плиту чайник, включил телевизор. За окнами по-прежнему метёт. В такую погоду на улицах ни души, и в гости никто ни к кому не ходит, а в голову лезет и лезет: а она возьмёт и придёт. Долго ли ей, ненормальной? А что? Шла, скажет, мимо, гляжу, свет, ну, и зашла, сам же приглашал, и вообще, погреться по пути заскочила, пустишь? И что я должен на это ответить? Уходи? О, Боже! Я выключил телевизор, свет и в тихом безумии опустил на тахту. Надо бы уйти к родителям и всё это поскорей заспать! А сам — ни с места. “Ну, ты чего”, — подзадориваю я себя. Или жениться на ней собрался? А что бы, чай, и не жениться — вон какая она! Это какая же? Да уж такая...

Наконец, подымаюсь, одеваюсь, выхожу из дома.

На улице буря. Правда, и топать недалеко, да при таком ветре, казалось, шагу нельзя ступить, не задохнувшись. Помнится, ещё подумал: а может, не ходить? И чего, собственно, выдумал? В такую-то жуть! Она, может, сидит себе с окосевшим дядькой в тепле и в ус не дует, а я насочинял. И уж хотел вернуться, да мелькнул в свете одиноко мотавшегося на ветру фонаря силуэт. Приглядываюсь — женщина. Да неужели она? Поспешно забегаю за угол. Замираю. Мысленно иронизирую над собой: может, и не к тебе вовсе, по обе стороны улицы домов — прорва, и автобусная остановка в той стороне, а ты... Но в следующую минуту слышу стук калитки.

Да, это была она... Как поступил? А ты бы как поступил? Ах, ты бы не вышел. Судя по твоим поездкам за Волгу, что-то сомневаюсь я. В общем, вышел я в тот момент, когда она, не дозвонившись, собиралась уходить. Выбежал, знаешь, в распахнутом овчинном тулупчике — этакий ухарь. Банку, кричу, затопить хотел, да там сам чёрт ногу сломит, и дымоход, поди, снегом забит.

— А ты дом посмотреть?

— Ну-у... можно, конечно. А так — за тобой. Прихожу к вам, говорят, поди, у себя. И дали адрес. Прихожу — темно. Думала, спать лёг. Звоню, стучу. А ты, оказывается, в бане копошился... Ну, что, пошли? Да пошли же! Идём. Ты не представляешь, какой я шикарный стол накрыла. Ахнешь! А потом... если, конечно, хочешь, не подумай только, что набиваюсь, можно и к тебе пойти. Если, конечно, ты захочешь.

Надо ли говорить, что именно этого я и хотел? Но, разумеется, держу марку. В гости? Так что ж, можно и в гости. И она меня сразу же под руку взяла. Как бы шутейно опять же плечом толкнула.

Ну, а потом...

Что было потом, рассказывать, понятно, не буду. Скажу только, что сначала с её разведённым дядькой-забулдыгой (бабушка года три назад умерла) мы пили, закусывали, травили анекдоты, ну, а потом пошли ко мне. Дядьке, правда, сказали, что пошли прогуляться. Непутёвая же скотина, как известно, только в такое ненастье и гуляет.

Приходим ко мне...

Пожалуй, хватит. Знаешь, всё-таки я твой отец, а стало быть, должен блюсти меру. Скажу только, что это была единственная наша ночь. Точнее, всего около двух часов из всей длинной, зимней ночи, при воспоминании о которой мне до сих пор стыдно.

Ночевать её у себя, разумеется, я не оставил. Она и сама прекрасно понимала, что остаться нельзя. Помнится, вышли мы с ней на тихую после вьюги улицу часу, может быть, в третьем или в четвёртом, я на часы не глядел, и пока шли, она, как будто уже имеющая на то право, планировала нашу будущую совместную жизнь. Я же с какою силою страсти её совсем недавно желал, ровно с такою же, если не большею силой теперь ненавидел. И если бы не эта случайная связь, я бы и сомневаться не стал, а так получалось, был если не обязанным, то повязанным по рукам и ногам. Даже если никто не

видел, разве это меняет дело? Самому себе, скажем, своей совести, как всё это объяснить? Что — не любил? Тогда зачем вступал в связь? Нет, мой мальчик, всё не так просто, как кажется, и я, идя рядом с ней, молил судьбу, чтобы пощадила, чтобы всё это как-нибудь разрушилось само по себе.

И, знаешь, разрушилось. На другой день пришло письмо от одноклассника, и я, недолго думая, укатил к нему как бы в гости. Остановился на частной квартире. Денег было достаточно. Так что почти три месяца, до очередного вызова на пугину, я там, как жулик, отсиживался. Нет, правда, всё это время и даже потом чувствовал я себя преступником, скрывающимся от правосудия. Даже родителям из предосторожности не писал. Потом уж узнал, что с месяц она донимала их своими посещениями: не приехал, не написал ли?

И вот тогда, в этом небольшом городке, я и познакомился с твоей мамой. Где? На танцах. Стоит ли говорить о том, что, когда поближе узнал её и полюбил, я так оплакивал своё смрадное прошлое. Тогда каким-то седьмым чувством я понял, что твоя мама — моё единственное спасение. Не веришь, но с ней я словно переродился.

А примерно через три месяца после нашего знакомства, наплевав на все заработки, я женился.

13

Ты, может быть, спросишь: и что? Что в этом особенного? Действительно, со стороны глядя, ничего. Но это только со стороны.

Всего минут пять, как умолкли все эти бесконечные, набившие оскомину: “Миленький ты мой, возьми меня с собой...”, “А эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала...” и прочее, и можно было погрузиться в благодатную тишину семейного уюта. Я был счастлив тем особенным душевным и телесным счастьем законной супружеской близости, с которым проснулся утром после первой брачной ночи. И в этом была не только своя прелесть, но и какое-то неведомое мне доселе спокойствие совести, сладкая тишина души, девственная, ни от кого не скрываемая на этот раз свежесть и чистота постели. И у меня просто не хватает слов, чтобы передать всё то, что я испытал в то утро. Но определёнno, я был уже не я, а кто-то совершенно другой. Чувство, которое влекло меня прежде к Еве, потом к Ноэме и, наконец, к твоей маме, это болезненно-жаждущее чувство души было напоено и наполнено до краёв. И теперь что бы я ни делал, что бы ни чувствовал, я делал и чувствовал за двоих. И это продолжалось весь наш медовый месяц, во время которого мы ни разу не поссорились, хоть и дурачились, особенно по утрам или перед тем, как лечь в постель, ужасно.

Дурачились как?

А насмерть бились подушками, я умирал, а твоя мама воскрешала меня поцелуем. Иногда, просыпаясь раньше, я подолгу смотрел на твою маму. Эти минуты, дорогой мой, незабываемы. И я, помнится, всё недоумевал, каким образом два совершенно чужих человека становятся друг другу ближе самых близких родных. В такие тихие минуты меня восхищало в твоей маме всё. Каждая чёточка лица, её ровное дыхание, положение руки, изящный изгиб тела... Тебе приходилось когда-нибудь видеть иллюстрацию спящей Венеры? Видел? Одень в сорочку, и ты получишь точный портрет твоей мамы. Но дело даже не в этом. В созерцании спящей Венеры, думается, есть нечто от райского восхищения Адама. Какое совершенство линий, пропорций, какое чудное творение Божие, какая удивительная красота! И потом, что такое удивление? Это же восхищение новизной, а Ева была последней новизной в мире. В такие минуты я ни о чём и ни о ком не жалел. Я был истинно счастлив.

А знаешь, какую радость доставляет известие о первой беременности?

Я, конечно, понимаю, как на физиологическом уровне это происходит, но, дорогой мой, если бы это была только физиология, чем бы мы отличались от обезьян, пусть даже и самой высшей организации? Теперь много говорят о пришельцах из космоса, о затонувшей Атлантиде, НЛО, иных ми-

рах, исчисляя возраст планеты миллионами лет, но что это доказывает и, главное, какое отношение имеет ко мне, к тем минутам утренних созерцаний, которые безмолвно говорят гораздо о большем, куда более важном и значительном, чем все эти сказки о пришельцах из космоса, иных цивилизациях, Атлантиде и миллионах подготовительных лет, когда какие-то динозавры и ихтиозавры с питекантропами, нещадно пожирая друг друга, закладывали фундамент нашей цивилизации?

Но вернусь к разговору о первой беременности или, по-старинному, о зачатии. Хотя и зачатие зачатию рознь. И для подтверждения этих слов вернусь к тому, с чего начал, — к чувству законной супружеской близости, хотя бы над молодожёнами ещё и не довлел никакой священный закон. Официальное, если так можно выразиться, освящение может состояться и позже (или не состояться совсем), к свершившемуся событию можно что-нибудь добавить, скажем, снять остроту отношений или возвести их на более ответственную высоту, всё это вполне может быть и иметь место хотя бы для спокойствия совести, но повторяю, не в этом суть, не это главное, это лишь покров над той ничем не объяснимой и непостижимой тайной первой законной супружеской близости, когда вы положили любить друг друга и быть верными друг другу до гроба. Я не говорю о соблазнах, которые, конечно, будут вас подстерегать на каждом шагу и перед которыми, может быть, кто-нибудь из вас даже и не устоит, но тут же и отринет их, как мерзость, после чего станет любить свою вторую половину ещё сильнее, ещё преданнее, потому что из горького опыта поймёт, что нет ничего чище, серьёзнее и сильнее того единственно возможного и только однажды даруемого чувства первой законной супружеской близости. К этому непостижимому, но живо переживаемому чувству относится, на мой взгляд, и зачатие — не имеет значения, какое: первое, второе, третье... Тут происходит, говоря высоким слогом, общение с вечностью, которая, как известно, есть Любовь.

14

Дни ожидания первенца так же удивительны и неповторимы!

Всё эти страхи, тревоги, походы к врачу, вставание на учёт, сдача анализов... Первые три месяца внешне практически ничего не заметно, и только разные приходы свидетельствуют о том, что внутри будущей матери кто-то есть и не просто сидит там, а таким странным образом заявляет о своих правах. Потом начинает расти живот, что-то особенно тёплое и трепетное придавая прежде стройной фигуре, отчего ты начинаешь любить свою жену ещё больше, точнее, как-то пронзительно нежнее.

Затем первые шевеления малыша. Живот продолжает расти, становится большим, упругим, его тяжело носить, вы оба крайне осторожны, ты предупредителен во всём.

Последние дни перед рождением, по выходе в декретный отпуск, так же ни с чем несравнимы.

Твою маму начинает страшить предстоящее событие, она всё чаще и чаще начинает повторять, что боится. И когда приходят первые схватки, не хочет верить, что роды начались. “Погоди, может неудобно повернулась, может, сейчас пройдёт”, — говорит она. И мы дотягиваем до последнего момента, как правило, до глубокой ночи, когда она, наконец, решается разбудить меня, чтобы я вызвал “скорую”. А в те времена, особенно же в нашей относительной глуши, это было и хлопотно, и, главное, не так скоро приезжала машина. Сначала нужно было добежать до коммутатора, в такой поздний час дозвониться; услышав равнодушное “ждите”, в тревожном ожидании, как правило, нерасторопной “скорой”, казалось бы, целую вечность сидеть с ума, глядя на то, как корчится от боли, как стискивает зубы, чтобы не закричать, твоя мама. Потом наблюдать всё это весь путь до роддома и, прошившись в приёмном покое, проводить твою маму долгим взглядом, как провожают разве только на войну или на смерть. А ты разве не знал, что роженицы ходят по краю могилы? А я и тогда знал. А ещё знаю, какие трудности были у мамы при твоих родах.

Но вот, проводив, ты возвращаешься на такси или на попутке домой, но не находишь себе места. Ты ничего не можешь делать, ты как чумной. Ты каждые десять минут звонишь в роддом, ты там всем уже надоел, но ты всё равно звонишь. И даже если ты совсем не умеешь молиться, ты истинно молишься в эти минуты, дорогой мой, без слов.

Когда подходит момент наивысшего напряжения, тебе кажется, если это продлится ещё немного, ты умрёшь. Но в самый критический момент долгожданное событие всё-таки происходит. И ты, узнав об этом, совершенно иначе начинаешь воспринимать мир. Он для тебя — абсолютная благодать, он весь светится. И с кем бы ты ни встретился, все поздравляют тебя, все рады, на всех лицах одобрительные, понимающие улыбки.

Что же это, если не любовь, но уже совершенно другая?

15

Ты скажешь, любовь — да, но при чём тут плач? И я опять принуждён совершить экскурс в историю, чтобы поведать тебе о самом горьком плаче Адама. Этот плач называется плачем о потерянном Рае. И хотя начинается он с момента рождения, однако нет горше плача при выпадении из мира, который ты, однажды перестав плакать, полюбил раз и навсегда и в котором, как в Раю, долго не видел никакого зла, который казался тебе неописуемо прекрасным.

Не понимаешь?

Хорошо, скажи, какие самые яркие впечатления твоего детства?

Пасха, Рождество...

Продолжаю вместо тебя: нарядная ёлка, Дед Мороз, мешок с подарками за его спиной, вы поёте песни или рассказываете наперебой стишки, проглатывая от волнения слова. О Рождестве, кстати, я в своём детстве не знал, и в моей памяти остался лишь Новый год с его разноцветными, бегущими снизу вверх по нарядным лапам сначала “детсадовской”, а потом школьной ели огнями после дружного скандирования: “Ёлочка, зажгись”, ватными бородами и женскими голосами дедов морозов, молоденькими снегурочками, новогодними подарками, в которых вперемежку с конфетами на всякий вкус лежало по одному необыкновенно сочному мандарину. Само собой — хороводы, песни, стишки: “Здравствуй, Дедушка Мороз, ты подарки нам принёс?” Блеск серебряного дождя, разноцветные конфетти, вместе с огненным облачком вылетающие из хлопушек и осыпаящие всех. Завораживающее горение бенгальских огней. Дома — звон бокалов с шампанским, по телевизору всю ночь транслируют новогодний “Огонёк”. Хотя вру, телевизора в то время у нас ещё не было. Только у соседки, одной-единственной во всей округе, был “КВН” — этакое, знаешь, чудище с лупоглазым экраном. Раза два, помнится, ходил я через линзу на это седьмое чудо света смотреть. И новогодние “Огоньки”, кажется, тогда ещё не транслировали, да и глупо было бы в такую ночь сидеть перед лупоглазым уродцем, когда по обеим сторонам радиолы, стоявшей на нашем комод, громоздились две огромные стопы пластинок, звук с которых снимался при помощи металлической иглы, которая постоянно тупилась, и её надо было менять. “Какой ужас”, — скажешь ты. Но не спеши с определением, сначала послушай.

Ты представить себе не можешь, какой праздник бывал в доме, когда твой дедушка приносил очередную пластинку. Были они, как мотоциклы, трёхскоростными, и если одни, самые медленные, проигрывались на скорости 33 оборота, то другие — на 45 и на 78. При этом пластинки, поскольку мы с них не слезали, быстро выходили из строя и, будучи исцарапанными, при проигрывании не только хрипели, но игла на них постоянно перескакивала через одну, две и даже десять дорожек. В варварстве этом были повинны мы двое — я и твой дядя, а ещё наша совместная с ним любознательность: при заучивании песен постоянно приходилось подымать и опускать рычаг. Ну, и сами по себе были они недолговечны и вскоре летали по воздуху вместо бумерангов во время игр во дворе или шли на слом, крошимые каблучками в труху. Это, кстати, относилось к нашим с твоим дядей спорам,

что песни лучше, и в то время, когда он крушил пятой “плохие” мои, я с не меньшим усердием крушил “плохие” его.

Но вернёмся к тому, что твой дедушка приносил очередную пластинку. Мне даже думается, он покупал всё, что выкидывалось в пятидесятые и в начале шестидесятых на музыкальный прилавок. Кого у нас только не было! Шаляпин, Русланова, Шульженко, Козловский, Лемешев, Марк Бернес, Утёсов, Любовь Орлова, Радж Капур, вся современная эстрада... Кто такой Радж Капур? Актёр, сыгравший популярного индийского “Бродягу”. Ты можешь смеяться, но я до сих пор помню эти песни. На каком языке? На индийском, разумеется. Хочешь послушать? Пожалуйста.

“Барбарнани, сансарнани, мусэниэ копьярнани, абараму-у, абараму-у. / Я гартэсмэму насмаму, абараму-у, абараму-у”.

Перестань! Совсем не для того я тебе спел, чтобы ты смеялся. Пели же мы это все вечера напролёт до тех пор, пока твоя бабушка не выходила из себя:

— Вы прекратите или нет?

Тебе смешно, а между прочим, всё это в их фильмах пелось со слезами на глазах. И я ещё несколько таких песен знаю. Про что — не знаю, но как петь, знаю. А вы разве не тем же занимаетесь, воспроизводя на слух песни на так называемом английском языке? Так что будем считать, что квиты.

Что исполняла тогдашняя эстрада? Чего она только не исполняла! Но из всего тогдашнего багажа, кроме знаменитых песен Бернеса, Утёсова и Орловой — “Тё-омная ночь”, “У Чё-орного моря-а”, “Нам песня строить и жить помогает”, — какие-то два типа пели про официантку Манечку. И знаешь, как это вы теперь выражаетесь, так прикольно: слов начальных не помню, а только мотив и припев.

“Тра-татата-татата, Ма-анечка, тра-татата-татата, Манечка! Ох, Ма-анечка!”

И ещё безумно нравилась нам пластинка про “заело”. Чего-то там “зае-зае-зае-заело”. А мы с твоим дядей катались по полу от смеха.

Так что принесённую пластинку мы буквально за неделю заслушивали до летального исхода. А теперь прибавь к этому лучшие застольные песни, которые мы слушали во время праздников.

И это тоже забываемо.

На столе, как и во всей России, нельзя сказать, что шаром покати, потому что стоит огромная миска варёной картошки, такая же миска мелко рубленной и уложенной слоями капусты, сверху — яркая, как напояженные губы деревенских дур, “помидора”, сморщенные солёные, но очень сочные огурцы — всё из дубовой кадки, ржаной хлеб толстыми ломтями, свиное сало — тонкими дольками, и если его сразу не съедали, становилось оно самым отвратительным на вкус, само собой — гранёные стопки, пара бутылок “Московской” — и это ли не великолепие? Да это, брат, роскошь по тем, да, пожалуй, и по нынешним временам. Ты ел когда-нибудь всё вышеперечисленное, засоленное в дубовой кадучке, срезанное с собственного поросёнка? Не-ет. Вот и молчи.

А теперь представь себе такую картину. Все без исключения веселы, довольны дальше некуда и после очередной выпитой стопки аппетитно и смачно хрустят солёной капустой, огурчиками, с шумом высасывают внутренность из помидоров, как будто их век не кормили. Мы, понятно, под кроватью, до взрослого стола нас не допускают, но мы всё видим, всё слышим, мы — незримые участники торжества. Иногда озоруем. Как? Дядя твой однажды, например, на спор, вроде как водички попить захотел, подбежал и хлопнул стопку водки. Что тут началось! Разумеется, твоему дяде поверили, что только водички попить захотел, да нечаянно ошибся. И чтобы не опьянел, давай в рот ему хлеб со сливочным маслом да и всё, что на столе было, пихать. И он послушно, как желторотый птенец, разевал рот, нежёванные куски эти один за другим с усердием глотал, а потом, забравшись к нам под кровать, заставлял нас исходить сопливой завистью.

По какой причине собирались? В день рождения моей бабушки, после заклания поросёнка, после сажания и копания картошки. Дядьки и тётки

вместе с родителями, надо заметить, больше пели, чем пили. Что пели? Ну, например: “Миленький ты мой, возьми меня с собой. / Там, в краю далёком, буду тебе женой”. И ведь главное, сколько ни умоляла она его, не взял, поскольку в краю далёком была у него и жена, и сестра, ну, а “чужой” она ему там была без надобности. Ещё пели: “Вот кто-то с горочки спустился. / Наверно, милый мой идёт / На ём защитна гимнастёрка. / Она с ума меня сведёт”. И далее про погоны золотые, орден яркий на груди, и кончалось всё одним и тем же: “Зачем, зачем я повстречала / Его на жизненном пути”. Не правда ли — если не в конкретных выражениях, то в самой сути всё это так знакомо? И ещё много других весёлых и грустных песен, которые, конечно, я помню. Разбуди в час ночи — и без запинки спою. Но особенно волновали меня такие слова в одной из них: “Его я видеть не должна, / Боюсь ему понравиться. / С любовью справлюсь я одна, / А вместе нам не справиться”. И это непреложная истина. Вместе — не справиться никогда, о чём я тебе уже и рассказал, и, как понимаю, ты сам постиг на своём горьком опыте. Ну, вот, ты и опускаешь глаза. Стало быть, я прав.

Видишь, как далеко занесли меня новогодние воспоминания? У тебя, разумеется, они не такие, но, согласись, очень похожие.

Увы, и о Пасхе в те годы мы не знали практически ничего. Знали только, что раз в году бывает Пасха, что попадает она всегда на воскресенье, но почему в разные числа и в разные месяцы — не понимали. Знали ещё, что в этот день какой-то Христос воскрес, а зачем и для чего — не ведали. При наличии кладбища событие это могло бы вызвать всеобщий интерес, если бы, скажем, по воскресении из мёртвых Христос этот до сих пор ходил бы по земле. Пришёл бы, например, к нам однажды домой и сказал:

“Ребята, я Христос, который воскрес, мне уже почти две тысячи лет, а я всё такой же молодой, каким умер и в третий день воскрес. Так с тех пор и хожу по всей земле, заглядывая в каждый дом, чтобы все увидели и уверовали, что Я воскрес, а то несправедливо как-то получается: кто-то видел Меня воскресшим, а кто-то — нет. Верно? Ну, и решил — буду ходить до скончания века, чтобы все Меня видели. Ну, всё, братцы, пора мне, побегу, сколько ещё домов обойти надо, бывайте, до встречи на том свете”.

Это было бы да! И потом, что это за выражение — “на том свете”? Про тот свет мы не раз слышали в разных вариациях, что-то вроде: “На том свете сочтёмся”. Есть, мол, где-то, кроме этого, ещё какой-то “тот свет”, как некое сказочное царство, куда никто попадать не желает и, однако же, все без исключения попадают, но что это за “свет” такой и почему его все пуще огня боятся, не понимали, конечно. Почему — не спрашивали? Спрашивали. Что отвечали? Известно что: “Отвяжись”. И если тебе раз, другой, третий скажут: “Отвяжись”, — ты поневоле отвяжешься, верно? А, мол, махнёшь рукой, придёт время — узнаю. И в этом отношении, мой мальчик, вы с сестрой счастливец нас.

Ибо воистину воскрес Христос!

А помнишь, как ты, закрывшись в туалете, думая, что тебя никто не слышит, после Светлой заутрени и всю Пасхальную неделю с каким-то восторженным привизгиванием пел: “Пасха священная нам днесь показася... Пасха святая, Пасха таинственная...” А мы с мамой и твоей старшей сестрой стояли возле двери и не могли наслушаться. Так, наверное, даже ангелы на небесах не ликуют, как ты тогда ликовал.

А помнишь, как ты однажды спас нас от неминуемой гибели? А всё оттого, что с раннего детства навывк непрестанной молитве. Я не могу передать, как удивительно ты её читал, с каким-то исходящим от звука твоего голоса действием, даже во сне, мороз по коже шёл, когда я это слышал.

Так в тот день, как ты, наверное, помнишь (неужели забыл?), мы мчались на нашей новенькой “Таврии” с жигулёвским двигателем (то есть зверь, а не “Таврия”!) по трассе. Была зима, по обе стороны шоссе — высокие борта сугробов, небольшой поток встречных машин, а впереди всего одна — грузовик, фургон. Я издали по фонарям и по стремительному нашему приближению к нему вижу, что фургон тормозит, включает правый поворот, хочет повернуть на заправку, и поэтому я, не сбавляя скорости, ле-

чу, абсолютно уверенный, что пока доеду, он уже повернёт. И вдруг в последний момент водитель передумал и опять выворачивает на дорогу.

Я начинаю тормозить, но мы так близко, что я понимаю: не успеть. Машинально уожу влево, но прямо перед моим лицом вырастает кабина “КамАЗа”. Всё это происходит, как в замедленном кино, на самом же деле всё произошло в несколько секунд, а последнее — в доли секунды.

Вижу скованное ужасом лицо водителя “КамАЗа”, мы идём в лоб, слева — борт снега, справа — грузовик, я на скорости — столкновение неизбежно. Ты же в это время, очевидно, не понимая, что происходит, стоя за моей спиной (ты всегда ездил стоя, чтобы созерцать своими огромными глазами дорогу), методично, размеренно тянешь и тянешь Иисусову молитву. Твоя мама и сестра — в оцепенении, ещё немного — и они закричат, а я зажмурюсь.

Но в это мгновение чьи-то властные руки ложатся на мои, выворачивают руль влево, затем вправо, и мы почти впритирку, шаркая боком о сугроб, проходим рядом с огромными колёсами “КамАЗа” и благополучно избегаем аварии.

Я останавливаю машину, долго не могу прийти в себя. Ты спокойно продолжаешь молиться, твоя мама, наконец, тяжело вздыхает и крестится, твоя сестра улыбается и поочерёдно смотрит на нас и на тебя.

Неужели не помнишь?

А помнишь, когда мы только купили машину, я, собираясь по своим делам, не хотел брать тебя, потому что мне показалось, что ты плохо одет, и как горько ты тогда плакал? А твоя мама потом пронзила моё сердце, сказав, что ты надел всё самое лучшее?

Неужели тоже не помнишь?

Впрочем, что же тут удивительного? Я тоже много чего, связанного с такими детскими обидами, не помню. Поссорились — помирились. Обидели — пожалели. Действительно, сколько всего в детстве бывает — и всё помнить?

Но одного случая забыть не могу. Потому именно, что связан он с плачем Адама.

16

Говорю о выпадении из детства.

Как это было?

Знаешь, до сердечной боли глупо и обиденно.

Однажды пришла в гости соседская девочка, с которой мы частенько вместе играли, пришла, когда родителей не было дома, и показала мне, что надо делать, чтобы стать папой и мамой. Прежде, когда она приходила, я, например, строил из кубиков какой-нибудь великолепный замок, а она укладывала в него спать свою куклу. Или я с ветерком катал её Лялю в кузове самосвала, а она бежала рядом и на каждом крутом выраже верещала: “Упадёт! Упадёт!”. “Не упадё-от!” — заверял я и мчался дальше, пока не врезался в какой-нибудь “дорожный столб”. Ляля летела через кабину и до того смешно валялась на полу, задрав вверх ноги и руки, что я помирал со смеху, а соседка, подхватив “дочку” на руки, тетёшкая её, показывала мне язык. Довольно часто мы слушали пластинки, и не раз в нашем чулане с небольшим оконцем в дощатой стене, где мы обычно играли, сидя на кушетке, по очереди бренчали на семиструнной гитаре и пели. Сначала я, положив на ноги гитару, играл, как гуслея, а она пела, потом играла она, а я пел. Не помню, откуда, когда и для чего появилась у нас гитара. Никто у нас на ней играть не умел, но, тем не менее, на протяжении многих лет она висела на вбитом в стену гвозде в чулане.

В тот день, кстати, тоже всё началось с игры на гитаре. Сначала мы играли и пели. Затем соседка сказала: “А давай целоваться?” И вот мы стоим друг перед другом на четвереньках на кушетке и тычемся носами. Когда надоело, легли спать. И я уже закрыл глаза, когда она, приподнявшись на локте, сказала: “А бодаться?” Так и сказала: “А бодаться?” Я, разумеется, спросил: “Как?” И она показала. Сказать, что от всего этого я одурел — значит, ничего не сказать. Страшнее, стыднее, ужаснее тайны у меня до сих пор

не было. А поди, поживи с такой тайной среди ничего не подозревающих, по-прежнему любящих, считающих тебя лучше всех!

Но, как говорится, яблочко было сорвано и съедено на двоих. Разумеется, ничего подобного больше не повторялось, одевшись до определённого времени в своеобразное табу. Но такие события не забываются. Мир вокруг после этого предстаёт как бы рассечённым. Нет уже прежнего, доверчиво глядящего в родительские очи Адама, а только жалкая, всё время ускользающая с глаз долой тень. И хотя это всё тот же Адам, но уже не такой, как прежде. Он ещё плачет по ночам о потерянном рае, но при дневном свете старается как можно дальше спрятать от всех свою жалость о его потере. Ведь всё это, детское, так смешно. На смену прежней гармонии приходит хаос. В твоём взгляде на женщину начинает главенствовать непреодолимая и ненасытная жажда обладания, обладания и ещё раз обладания. И вместе с тем ты видишь, что каждое очередное обладание, тщательно скрываемое от родительских глаз, которых ты почему-то больше всего стыдишься, разъединяет вас всё больше и больше. Так, как ты, наверное, догадался, было и со мной, о чём я тебе с такими откровенными подробностями и поведал.

Что же тогда, спросишь ты, означают мои мучения после разрыва?

Извини, но ответ всё тот же: плач Адама.

Но неужели, спросишь ты, ничего не вернуть?

Вернуть, разумеется, ничего нельзя, но построить на обломках что-то совершенно иное, конечно, возможно, хотя и тяжело. Согласись, легче построить дом заново, нежели, варварским способом разрушив до основания старый, из обломков воздвигнуть его вновь. Я шёл этим путём. И потом, как было сказано, пока я бороздил воды Тихого океана, Ева вышла замуж. И я вынужден признаться тебе в том, что соврал, сказав, будто бы она стала хорошей женой. Матерью — может быть, но женой... Сам посуди: кто-то твоей возлюбленной попользовался, бросил (даже если она сама кого-то бросила), после чего она досталась тебе. Как, например, ты представляешь себе искренность её объятий, в которых ты думал быть единственным? Увы, но этот порочный опыт “до тебя” обязательно на ваших семейных отношениях скажется. Если она до тебя никого не любила — зачем, спрашивается, отдавала честь? Даже если нечаянно или случайно (как обычно говорят), дескать, почти во сне, ты же прекрасно понимаешь, что это блеф. Вспомни себя, как ты заглядывался на соседку, как, находясь в этом первом опьянении, носил ей цветы. Неужели ты будешь утверждать, что всё это было просто так, как бы во сне, без всякого участия твоего сердца? По твоим глазам вижу, что нет. Поэтому никогда не сможешь поверить, что “до тебя” не было того, что принято называть “первой любовью”, самой сильной, кстати, по причине новизны.

И, однако же, всё это прекрасно понимая, ты уже не можешь без “неё” жить. А это значит, всё прощаешь и женишься. Но прощаешь опять-таки с неременным условием, чтобы она больше ни-ни, ни одним глазом ни на кого не смотрела. Но как это запретишь — не слепая же она? И если даже она ни на кого не глядит, ты не можешь не видеть того, как глядят на неё если не все, то, во всяком случае, многие. Да ещё как глядят! Глядят и облизываются! И в этом, мой мальчик, ещё одна из причин плача Адама. Ты скорбишь уже не о том, что ничего не вернуть, а о том, что ничего лучшего даже из того, что попало тебе в руки, своими слабыми силами построить не сможешь. Ревнуешь жену на первых порах практически к каждому столбу. Увы, но, выйдя за тебя замуж, она по-прежнему хочет нравиться. На словах будто бы тебе и себе самой, на самом же деле — тем, кто на неё облизывается.

Кончается тем, что ты, наконец, и с этим мирисься, говоришь: ладно, пусть рядится. Делаешь вид, что тебе наплевать, и даже сам начинаешь рядиться, как бы уже ей в пику, даже за кем-нибудь для виду приухлестнёшь. И вот уже повод для ещё одного плача. Куда ни кинь, всюду клин.

А где же тогда семейное счастье, спросишь ты?

Именно к этому и веду. Но ты готов ли слушать? Готов? Тогда вернёмся к появлению в доме младенца.

И, в первую очередь, надо сказать о купании. К сожалению, ты не видел, как купают детей, но тебе не составит труда себе это представить. Видел в кладовой оцинкованную ванну? Да, ту самую, в которой теперь лежит кипа макулатуры, и она вся в пыли. Но когда-то это была самая чистая посуда в доме.

Перед купанием её ставили на два табурета, наливали до половины горячей воды, которую разбавляли холодной до тех пор, пока терпел мамин локоть — самый точный градусник, чуть-чуть окрашивали марганцовкой, топили пелёнку, чтобы ты не обжёгся о дно ванны, и только потом осторожно опускали в воду спинкой тебя.

Видел бы ты, как ты весь скукоживался, сжимая крохотные кулачки и дрожа нижней губкой, очевидно, боясь утонуть!

Но твоя мама всё же опускала тебя, укладывая головкой на локоть правой руки и поддерживая ладонью под попку, а левой начинала мыть.

Если я был рядом, держал мыльницу, наблюдая, как твоя мама, покрутив в ладони мыло, намыливала твою тоненькую шейку, на которой болталась твоя лысенькая головка, затем за ушками, под мышками, между ножек, под коленками, ручки и ножки целиком, а потом, ополоснув руку, смывала намыленное водой.

Заканчивалось купание тем, что я поливал тебя поддеваемой из ведра чистой водой, когда твоя мама держала тебя над ванной вверх спинкой.

Затем укладывала тебя на расстеленную пелёнку, насухо вытирала и проворно одевала во всё чистое.

После этого наступало кормление. Ты, сопя и потея, тянул молоко из груди, а твоя мама, нежно на тебя глядя, осторожно вытирала с твоей переносицы и со лба пот.

Знаешь, как крепко ты спал после купания? Как убитый. Часа два, а то и три, бывало, не шелохнёшься.

Ну, а потом ты пошёл. Сначала, разумеется, научился вставать на ноги и стоять, держась за спинку кровати, за стул, за край дивана, за стену. И первые шаги делал из маминых рук ко мне. Так смешно открыв рот и готовый уже упасть, делал шагок, редко — два, и я тебя подхватывал на руки. Потом, как и все, научился ходить, забавляя нас тем, что только и делал, что ходил и садился, не сгибая колен, на попку. А если бежал, то — как спортсмен, перед финишем выпячивая грудь.

Следующая ступень — освоение речи. Жалею, что не записывал за тобой, а запомнить ввиду отсутствия детской логики было невозможно, поскольку все вокруг говорили на человеческом, и только ты один — на ангельском языке.

И это время действительно можно было бы назвать семейным счастьем, если б вы с сестрой не болели, если б из-за постоянных споров по поводу вашего воспитания, одевания, ваших детских ссор не начались уже другие — родительские ссоры, причину которых в детстве ты совсем не понимаешь, потом они тебе начинают надоедать и даже заставляют поступать родителям назло.

Хочешь, скажу выношенную годами истину?

В нашей любви к Богу, особенно на первых порах, много корыстного, любовь же к детям лишена корысти (ты мне — я тебе) от начала и до конца.

Пусть называют её как угодно — родительским пристрастием и прочее, но даже если это и пристрастие противозаконное, только благодаря ему существует на земле человечество. Увы, но даже христианский социализм — утопия, которую не удалось воплотить даже в монастырях. Исключение из обихода любви отчей, поверь, мой мальчик, такими бы бедствиями грозило человечеству, что и подумать страшно. Не думаю, что скажу глупость, если стану утверждать, что человек есть звезда, зажечь которую не в его власти, а вот потушить... И не дай Бог, чтобы с тобой нечто подобное стряслось, но если бы и произошло бы, я плакал бы самым горьким плачем Адама все оставшиеся дни жизни, пока не вымолил зажечь твою звезду вновь.

Конечно, есть и другой, не менее тяжкий плач. Но по порядку.
На чём мы остановились?

18

Ты научился ходить, говорить, пошёл в школу. И я даже не заметил, как ты вырос. Сначала, правда, росла твоя сестра. Но я, грешный, каюсь, что при её рождении не пережил того, что испытал, когда родился ты. Только когда ты появился на свет, я понял, что такое любовь отчая. Только тогда я вполне смог назвать себя отцом. А сначала мне даже стыдно было считать себя отцом, всё хотелось, прости за выражение, косить под мальчика. Но всё это в прошлом, обильно оплакано тем же плачем Адама.

Поэтому речь пойдёт только о тебе.

Ты помнишь, как я подарил тебе первую игрушку? Ты, кстати, сам её выбрал. И это был джип с огромными пластмассовыми колёсами. А как ты радовался и не хотел слезать со своего первого трёхколёсного велосипеда — помнишь? Молчу уж про улицу — часами по дому на нём катался. И как! Носился и на грушу гудка давил. А в моё время были такие регулируемые (закрутил — выкрутил, иначе не звонили) хромированные звонки с маленьким рычажком зуммера. И так же, как и ты, я получил в своё время в подарок от родителей подростковый велосипед. Он так и назывался — “Подросток”. А был ещё меньше — “Пионер”. Взрослые назывались по-разному. Благодаря велосипеду в своё время я изучил все окрестности. Велосипед был постоянным спутником моего детства, отрочества, юности. В летние каникулы в какие только дали я не забирался!

Наконец, минуло и это время. Ты окончил школу, поступил в университет. А помнишь, как на выпускном вечере, краснея и смеясь над своей неумелостью или оплошностью, ты вместе со всеми впервые пел в микрофон? А потом слушал моё пение под гитару у костра, и девочки из твоего класса, сидя рядом с тобой на стволе упавшего дерева, ловили каждое моё слово. А пел я:

*В школьное окно смотрят облака,
Бесконечным кажется урок.
Слышно, как скрипит пёрышко слегка,
И ложатся строчки на листок.*

И самый трогательный в песне, самый волнующий — припев:

*Первая любовь — школьные года.
В лужах голубых стекляшки льда.
Не повторяется, не повторяется,
Не повторяется такое никогда!*

И далее:

*Чуть заметный взгляд удивлённых глаз,
И слова туманные чуть-чуть.
После этих слов в самый первый раз
Хочется весь мир перевернуть.*

И это правда. И, однако же, довольно часто совсем не так, как бы хотелось, мир этот переворачивается.

Но вернёмся к выпускному вечеру, к дымящему костру. И мама твоя сидела тут. А потом мы разговаривали. Обо всём. Лишь о любви — ни слова. Я понимаю, конечно, почему ты выбрал не ту, которая сидела рядом с тобой, и не соседку, которой когда-то носил цветы, а ту, с которой в итоге пожелал остаться только друзьями. На мой взгляд, и соседка, и твоя одноклассница были куда привлекательнее, но так уж от веку повелось: даже если бы все вокруг не понимали твоего выбора и ничего в нём не находили, ты всё

равно бы выбрал именно её и считал бы свой выбор самым правильным, как когда-то считал и я.

В твоём возрасте, помнится, я всё не мог понять, за что люди столько скучных лет подряд любят друг друга. Глянешь, например, на него — красавца, и на неё — замухрышку или наоборот: она — картинка, а он — мятая фотография, да к тому же засиженная мухами, а поди ж ты, ни в одной компании друг от друга ни на шаг, и он за ней или она за ним, как за последней надеждой, ходят. Не понимал, говорю, раньше, зато понимаю теперь.

Почему?

Видишь ли, с годами начинаешь любить что-то совсем иное или, точнее, не только глазами или ушами. И чем дальше, тем больше. С годами даже простая забота приносит не меньше удовольствия, чем известное наслаждение. Мытьё посуды, поданный бокал воды, застёгивание хлястика босоножек, молнии сапог, если твоей второй половине по болезни или по беременности трудно наклониться. Даже недолгое расставание, как правило, оборачивается сердечной тревогой: не случилось ли чего? Тебя начинает умилять в твоей жене всё, что прежде казалось если не уродством, то неизящным, разумеется, связанным с возрастом, излишней полнотой, например. И вот представь себе, ты, всё это видя, как бы не видишь, ты как будто получаешь возможность видеть и любить практически одну только её душу, а вместе с ней — каждое движение, каждый жест, каждое слово — всё тебе до йоты мило, и ничего иного не надо. Доходит до того, что ты даже не можешь допустить мысли о возможной разлуке, подумать о том, что рано или поздно настанет время, когда один из вас уйдёт туда... И это бы не беда — беда в том, кто прежде. Я, например, хоть и боюсь уйти прежде, но более страшусь остаться один. Как это поэт сказал? “Тебя, мой друг, оставить и пережить боюсь”. И если б не вера в бессмертие... Но я опять отвлёкся...

19

Хотя почему же отвлёкся? Всё это относится к тому же плачу Адама. А есть, повторяю, ещё один, может быть, самый безысходный, беспомощный плач, который хоть и косвенно, но очень болезненно однажды нас коснулся.

Что такое?

Событие для наших палестин, надо сказать, неординарное. Ты этого не застал, это произошло в первые годы нашей супружеской жизни. Сестре твоей было три с половиной года, так что и она вряд ли что-нибудь помнит.

А событие это всколыхнуло всех. И на работе, и в магазинах, и на почте, и в школе, и в амбулатории, и в конторе только и делали, что судили об этом.

Что же произошло?

Моя тётушка отравилась укусом. Иначе — решила покончить жизнь самоубийством. Но прежде чем вышить укусной эссенции, сняла с себя нательный крест. Сам понимаешь, сколь неординарным могло показаться это событие, когда живёшь один-единственный и неповторимый миг в сравнении с миллионами лет до нашей и семь тысячелетий нашей эры, когда смерть, когда бы она ни пришла, приходит не вовремя, когда у тебя ещё куча дел, и, кажется, жить бы да жить, а приходит смерть, сопровождаемая списком вполне объяснимых с медицинской точки зрения причин, с чем как-то, пока не коснётся лично тебя, ты готов мириться, но когда человек сам лишает себя жизни... Ко всему этому представь моё недоумение. В то время, когда твоя бабушка боялась нас с братом крестить, и в доме не было ни одной иконы, тётушка не только своих троих детей и внучку окрестила, но и держала в доме икону и никогда не снимала с себя нательного креста. Стало быть, во что-то же она верила. Что же, спрашивается, тогда подвигло её на такой поступок?

Об этом и шли разговоры. Посёлок, где мы жили тогда, небольшой, все друг друга знали, всё было на виду. И вот живёт-живёт, понимаешь ли, человек, ничем от других не отличаюсь, и вдруг выкидывает такой номер. И одни говорили: “Дура”, — другие: “Ей бы сразу воду пить, пить”, — третьи обвиняли детей, четвёртые молчали...

Что относительно детей — действительно, именно они, если не знать большего, о чём никто, кроме двух-трёх человек, тогда и не знал, были во многом виноваты. Чтобы понять психологию несчастной, надо, как говорят компетентные люди, вникнуть в суть причины. А причина, на первый взгляд, лежала на поверхности, почему и осуждали, в первую очередь, её детей. Началось же со ссоры. Какой? Слушай.

Тётушка не то чтобы рано, но всё же рановато овдовела. Было ей тогда сорок пять. Ты, разумеется, не понимаешь, что такое для полной сил и энергии женщины сорок пять лет. Для тебя и тридцатилетние кажутся старухами, как в твоём возрасте было и для меня. Ну, не то чтобы старыми, а почти не обращающими на себя внимания, тогда как на самом деле именно в это время наступает то, что в народе запечатлено пословицей: “В сорок пять баба ягодка опять”. Некоторые даже уверяют — самый коренной возраст. И много чего ещё по этому поводу говорят. И многое справедливо. Поэтому остановимся на том, что тётушка, овдовев, оказалась в таком интересном положении: трое взрослых детей, внучка, и она, скажем, ещё ничего. Довольно часто бывает, что сходятся люди в таком возрасте. Сойдутся и живут. Вдовы, разведённые, редко когда закоренелые холостяки. И это сплошь и рядом. И ничего в этом зорного нет. Ничего, если не считать, что ты никому ничем не обязан. А если обязан?

Кому? Да в первую очередь — детям. Ведь взгляд детей на родителей — своя психология. Да ещё если все крещены и признают Нечто высшее, а не только простое размножение эмбрионов. Положим, судя по поступкам и отношению к матери, двое из этих детей (третий тогда сидел в тюрьме за пьяную драку и убийство) никакого высшего суда над собой не признавала. Ну, крестили их и крестили, что из того, многих крестят. И, как обычно в те, да и в нынешние времена крещение — само по себе, они — сами по себе. И проблема выходила до нелепости меркантильной: кому достанется дом, если мать “с любовником своим распишется?” Пока встречались они потихоньку, украдкой, так сказать, для удовлетворения естественных потребностей, всё шло как по маслу. Да, видимо, не могла тётушка, если не по причине пусть и поверхностной религиозности, так из стыда перед людьми, как непутёвая девка, тайком от родительских глаз встречаться с возлюбленным. В этом смысле была она *не такая*. Ей не надо было многих, ей надо было одного, но законного. Но как только она захотела это осуществить, как тотчас восстали дети. Особенно старшая дочь. Эх, скажу я тебе, и бомба! И эта бомба на протяжении недели изводила мать жуткими скандалами. Как рассказывали соседи, кричала она на всю ивановскую: “Ты нам не мать после этого! Издохнешь — к гробу не подойдём!”

И вот результат налицо. Благо, умерла тётушка не сразу, а ещё сутки в больнице помучилась. До самой смерти была в полном сознании и всё просила у детей прощения. Дедушка твой тогда был в отъезде, но, получив телеграмму, на похороны сразу прилетел. Долго ли на самолёте? Сел — и через четыре часа на месте.

Короче говоря, гроб в доме. Дети тише воды, ниже травы. Как ни крути, а чувство вины никуда не деть — мать есть мать. Так же, кстати, нелепо и отец умер. Поехал в деревню родню навестить, набрался с радости и в ту же ночь помер. Как и тётушку, его заочно отпели. Только и спросили в церкви, как это она укусу напилась? Да бутылку, мол, нечаянно перепутала, глотнула и... Оформили, в общем, дали земельки, “подорожную”, всё, что в таких случаях полагается. Старушки-похоронщицы обмыли, Псалтирь нарядили читать. А перед самым выносом пришла плакальщица. Не знаешь, кто такая плакальщица? До тех пор и я не знал. Читал, что такие в старину бывали, но что и теперь, в безбожном нашем государстве они есть, никак не предполагал. Когда же услышал, нутром понял, что это нечто такое древнее, такое значительное, что даже мёртвый, если б мог слышать, прослезился бы. Плакальщица в каком-то экстазе причитала — а все вокруг плакали. В том числе и я стоял и давился комком в горле.

Потом снесли гроб на кладбище, заколотили, опустили в могилу, засыпали землёй, подравняли и обстучали лопатами холм. Само собой, поминки.

И вот тогда, из откровенных разговоров дальней деревенской родни и из моих расспросов нарисовалась совершенно иная картина.

И представляю я её так.

В углу на лавке под образами лежит ребёнок. Лежит и плачет, как плачут все недавно родившиеся дети. И первое, что в таком случае приходит на ум, — тотчас же проснувшаяся мать, спешащая дать ребёнку грудь, бутылку или пустышку. Но это если бы дитя лежало в кроватке или качалось в люльке. Люльки обычно подвешивали к ввёрнутому в матицу крюку, от люльки к родительской кровати протягивали верёвку. Всполохнётся посреди ночи дитя, потягают за верёвку — оно и уgomонится. А тут ребёнок на лавке, да ещё под образами лежит. Знаешь, для чего под образа детей клали? Чтобы, если больной, поскорее Господь прибрал. А этот лежит и кричит, как и не больной вовсе. Лежит и кричит. Пронзительно, требовательно, аж побагровел весь от натуги, а к нему всё равно никто не подходит. Будто оглохли.

За что, спрашивается, такая несправедливость?

Представь себе, за то, что непутёвая дочь (та самая тётушка) в девках неизвестно от кого его нагуляла. Первое время и от родителей, и от всего мира таилась. Но шла в мешке не утаишь, и сколько бы она ни утягивала полотенцем живот, пришло время, и он стал заметен. Пробовала она лежать животом на огородной жерди, прыгала с табуретки на пятки на пол, пила заваренную полынь, пижму в больших количествах — ничего не помогало. Ребёнок не желал покидать материнскую утробу. Тем более первенец, как оказалось потом, мальчик. А знаешь, что такое первенец? Первенец — значит Божий. По всем статьям — наследник. Довольно часто — первая и последняя надежда рода.

А теперь представь себе родительский срам и позор. Как ни таись, а пришло время, и слух пополз “по всей Руси великой”, то есть вся деревня судила и рядила на разные лады. За глаза, разумеется. В глаза же, как водится, вежливо здоровались.

И день ото дня всё нагнеталась атмосфера в доме.

И вот, наконец, этот для кого злорадостный, а для кого и злополучный день настал — дитя явилось на свет. И, как и всякое дитя, было оно прекрасно. Родила, как обычно в ту пору, непутёвая дочь дома. И с этого дня в деревне деда стали с “пополненьцем” поздравлять.

Тут бы и смириться им. Но, увы! И я почти со стопроцентной уверенностью могу сказать, кто до всего этого додумался. И догадаться несложно. Кто в доме вместо Псалтири газеты читал, тот и точку в этом деле поставил. А читал их дедушка, как сказывала мне, помнится, твоя бабушка, без очков. Маме же он был свёкор. И сообщила она мне об этом, чтобы подчеркнуть, какой дедушка был грамотный и передовой человек. Разумеется, из бедноты, член правления колхоза, заведующий складом. Уважаемый в деревне человек. И на тебе — околмила дочь непутёвая!

Разговаривать в таких случаях бесполезно, и от вожжей проку мало. Ну, положим, высек он её, а на молодом теле через неделю всё, как на собаке, зажило, и оно опять своего просит. Даже после изнурительной колхозной работы до зорьки красной молодёжь, начиная с обычных посиделок, заканчивает тем, что, как стадо слонов, вытопчет все труднопроходимые места. День не спят, ночь не спят — откуда, спрашивается, силы берутся? А я скажу, откуда — от молодости. Молодость спокон веку по лезвию ножа да по краю обрыва ходит. Бывают, конечно, исключения, но крайне редко. И в благополучных семьях родители нередко слёзы льют, как, например, мои дедушка с бабушкой.

Бабушка, надо сказать, в открытую, не таясь, но и не смея перечить, отирала концом платка свои материнские слёзы. Как и любой матери, ей было жаль своё дитя. И хотя и у деда сердце было не каменное, однако же тогда, при отсутствии законных внуков, верх взял простой расчёт. Кто такую, да ещё в послевоенную пору, да ещё с прижитым невесомым ребёнком возьмёт? А если и возьмёт, кому век с чужим дитём нянчиться, не им ли, родителям? И потом — это всё-таки не убийство в прямом смысле. Приболело, дескать, дитя да и померло. Сколько их умирало и умирает дондесь?

У них самих сколько их примерло? Из семерых только трое выжили. И потом, если уж на то пошло (как я понимаю, он всё-таки позволил бабушке дитя окрестить), “не куда-нибудь, к Богу невинная душенька пойдёт”. И так всегда. Каких только слов в оправдание не наговорят, лишь бы приукрасить злодейство, не зря же говорится, что дорога в ад вымощена благими намерениями.

Опять же — ад. Вот скажи, положи руку на сердце, что это такое? Как ты себе его представляешь? Я, например, никоим образом его представить не могу. Один плюшевый эстет в одном из своих тщательно вылизанных романов обронил как-то, что не может верить в Бога и в бессмертие потому, что не в состоянии постичь, что никем и никогда невидимый Некто позволил бы себе игру в человечки. Обронил как бы мимоходом, а я всё думаю: а ведь он, сукин сын, в чём-то прав. Даже если предположить, что совершенно не то входило в первоначальный замысел творения, да как-то так нечаянно получилось, что захотелось вдруг Адаму с Евой, кроме всего прочего, ещё кой-чего, скажем, после сытного обеда в своём же собственном чулане сметану с крынки у соседней слизать, и надо же такому невезению случиться: их тут же застукали, и не просто, а из своего собственного дома на улицу выдворили. И Кто! Отец любящий! Собственных детей! Можно сказать, ещё несмышлёньшей! Идите, мол, мыкайтесь. С этого, говорят, как раз и началась мировая история. Нет, умом я, конечно, понимаю, что несправедливо было бы утвердить в Раю зло навеки. В самом деле, что бы это был за Рай, где все, как теперь, только и заняты тем, что друг друга едят? Но подумай сам, если Бог заранее знал, что человечество так накуролесит, стал бы Он создавать этот сериал? Ты, например, стал бы? Я бы, например, даже на бумаге не стал. И знаешь, почему? Потому что я никого не могу воскресить. А ещё потому, что у меня есть вы — ты и твоя сестра. Даже если бы у нас было девятеро, ни одного бы я не захотел похоронить прежде времени даже в книжке. Это только не знающие любви отчей способны позволить себе игру в человечки и шлёпать в своих романах и сериалах людей, как мух. Да что — в романах! Разве способен, например, на такое царь Давид, проливавший слёзы о своём неразумном сыне: “Авессалом, Авессалом, сын мой, сын мой!”

Ты думаешь, я отвлёкся? Нимало. Всё это парафраз на тему того же плача.

И вот плачет дитя. Бабушка потихоньку глотает слёзы, непутёвая дочь, забившись в угол, молчит в обиде на весь белый свет, дед без очков упрямо читает газету “Правда”. Затем задувает зонд-лампу, залезает на печь. Пихает старуху локтём: “Ну-ка, подвинься”. И наступает мрак. И если б не спасительный светлячок лампадки, была бы жуть просто невыносимая.

Проходит час, полтора, два. Дитя то стихнет, впадая в беспомощность, то вскинется вновь, но с каждым разом кричит всё жалобнее, всё тише. К утру почти не плачет, только кряхтит. Потом умирают и эти звуки. Но ещё не скоро наступит минута, которую почувствуют все: в доме покойник. Когда умирает человек, всегда наступает такая минута.

Не буду продолжать дальше. Скажу только, что дед погиб не своей смертью, когда мне было семь или восемь лет. Машина с людьми лоб в лоб сошлась с другой машиной и из десяти человек, сидевших в кузове, ехавших в город на базар, погиб только дед. Как умерла тётушка, ты уже знаешь. Таким образом, свершилось возмездие. Знаешь, как один замечательный поэт сказал?

*Тот жил и умер, та жила и умерла,
Те жили и умерли.
Земля прозрачнее стекла
И видно в ней, кого убили
И кто убил. На мёртвой пыли
Лежит печать добра и зла.
Им не уйти бы никуда
Из наших рук от самосуда,*

Именно после этой истории я понял, почему Достоевский с такою категоричностью утверждал, что счастье всего человечества не стоит слезинки одного замученного ребёнка. Дитя плачет? Так успокой. Как? А возьми дубину или ремень и, стоя над ним, цеди сквозь зубы: “Или ты сейчас же перестанешь, или я тебя убью!” Иначе: или ты сию же минуту станешь счастливым, или я тебя в порошок сотру. Видишь, и тебе это кажется абсурдом. Но именно такое принудительное счастье ещё совсем недавно насаждалось в масштабе целого государства. И кто не хотел или у кого не получалось быть счастливым (ну, не получается, бывает же такое, настроения, скажем, нет или не то, а тебя заставляют), отправляли к таким же упрямым и не сумевшим под общее счастье подстроиться, а самых неисправимых даже расстреливали. И казалось, ещё немного, и останутся одни счастливые. Ведь для того, чтобы на земле все стали счастливыми, всего-то и надо, что уничтожить всех несчастливых. Верно? То-то и есть, что нет. Сам понимаешь, что каламбур. Каламбур, но с подведением под него научной базы, где всё объяснено от сих до сих, казалось бы, чего проще, прочитал — и сразу стал счастливым. Ан, нет, не получилось.

Почему у верующих не получилось?

А где ты видел верующих? Видел? Где? Ах, в храмах... Ну, да, туда действительно одни только верующие ходят. И не по тротуарам даже, а, как апостол Пётр, по воде, между делом горы переставляют, исцеляют друг друга лёгким прикосновением руки и даже собственной тенью. Зайдёт, например, такой верующий в больницу (скажем, ты: ты же заходишь иногда от нечего делать в церковь), войдёт в палату, встанет у окна, окинет взглядом больных и скажет: “Ну, я пошёл”. А боковая тень за ним, и — о чудо! — какой кровати ни коснётся, тотчас же на глазах у всех ходячий скелет превращается в розовощёкого, налитого здоровьем молодца, скрюченных прямит, мгновенно затягиваются кровоточивые раны, бесследно исчезают неизлечимые болезни. Как видишь, даже твоей мизерной, с горчичное зёрнышко, веры достаточно, чтобы такие немислимые чудеса творить. А что говорить о тех, кто ходит в храмы всю жизнь? Понятно, что все, как один, чудотворцы, и только из скромности чудес не творят. Ну, стесняется человек, это же так понятно. Смиранный такой. И мог бы, да из смирения позволить себе не может. И в этом вся твоя логика: раз ходит в храм, значит верующий.

Дошло, наконец? В том-то и дело, что далеко не все верующие способны, как Пётр, ходить по водам. И не только по водам, но и собственной тенью исцелять больных, как согласно преданию тот же трижды отрехшийся от Христа Пётр способен был делать. Так что помолчим о верующих. И вернёмся к тому, почему ни у кого не получается построить счастье на земле. Хотя о чём же тут говорить? Надо просто раз и навсегда констатировать факт: и никогда не получится. Так сказать, в общем масштабе. А в частном... Как и во всём мире, лишь мимолётное, призрачное или одетое в тогу закона, которое и счастьем-то не назовёшь. Но есть ещё, дорогой мой, так называемый покой, о котором ничего тебе не скажу, потому что это состояние необъяснимо, а лишь опытно переживаемо, а ты, судя по всему, ещё не созрел для такого опыта.

Ну, а потом ты вырос. Не поверишь, но, втянутый вместе со всей страной в борьбу за выживание, я даже не заметил, как это произошло. Помню только, что сначала ты ловил каждое моё слово, доверчиво заглядывая в глаза, и совершенно не помню, в какой именно момент ты стал отводить взгляд в сторону, скрытничать, так что поначалу я даже не мог понять, что, собственно, произошло. А на поверку вышло, что ты просто-напросто связался

с дурной компанией, которая научила тебя, как и меня когда-то, курить, пить вино, играть в карты. Более того, тебе дали попробовать “травки” и даже предлагали, как эти упыри выражаются, “уколоться”. И я благодарю Бога за то, что ты не увяз в этой трясине.

И откуда только берётся эта шпана?

В начальных классах школы практически никакого отличия ещё нету, разве что одеты они чуть похуже, да ещё, может быть, какое-то беспокойство в глазах. По поведению же долго ничего не заметно, разве что в учёбе отстают. И только с переходом в среднюю школу, с появлением, так сказать, “лишних предметов” всё больше и больше начинает сказываться влияние улицы, шпанская суть. Тогда, понятно, уже не до учёбы. А на кой она? Курить, пить, матом ругаться выучился, как пользоваться тем, что между ног болтается, старшие ребята показали, и чего ещё? Смысл жизни прост и понятен. Теперь только и остаётся, что *жить*. Живём, дескать, кореш. А тебе говорят — учись. И в этом — вся философия толпы. Казалось бы, чушь. Но именно в это время ты стал отбиваться от рук, совершенно игнорируя наши с мамой предостережения. Не только взгляд, но даже лицо твоё переменилось. А точнее, с него с каждым днём всё больше и больше стиралась лишь тебе одному присущая индивидуальность.

И тогда, может быть, впервые в жизни я понял, что такое молитва. А проще говоря: стал вставать среди ночи перед иконами на колени и плакать. Просто плакал, без слов. И, может быть, это был самый скорбный, самый безутешный плач Адама.

“Авессалом, Авессалом, сын мой, сын мой!”

И хотя подростковый период ты с грехом пополам преодолел, очевидно, настало время не столько для начала твоего плача, сколько для того, чтобы мой, отчий, выразился обилием столь откровенных слов и признаний.

Ну, и что ты мне на это скажешь, сын?